

Михаил
КРУПИН



ЧЕРТОЛЬСКИЕ
ВОРОТА



МАСТЕРА
ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ



Михаил Владимирович Крупин

Чертольские ворота

Серия «Мастера исторических приключений»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39468814

Крупин М. В. Чертольские ворота. Роман: ООО «Издательство «Вече»;

Москва; 2018

ISBN 978-5-4484-7654-9

Аннотация

Загадочная русская душа сама и устроит себе Смуту, и героически преодолеет ее.

Все смешалось в Московской державе в период междуцарствия Рюриковичей и Романовых – казаки и монахи, боярыни и панночки, стрельцы и гусары...

Первые попытки бояр-«олигархов» и менторов с Запада унижить русский народ. Путь единственного из отечественных самозванцев, ставшего царем. Во что он верил? Какую женщину, в действительности, он любил? Чего желал своей России?

Жанр «неисторического» исторического романа придуман Михаилом Крупиным еще в 1990-х. В ткани повествования всюду – параллели с современностью, и при этом ощущение вневременности происходящего, того вечного «поля битвы между

Богом и дьяволом в сердцах людей», на которое когда-то указал впервые Федор Достоевский.

Содержание

Легкая победа	6
Три беса	29
Тишина	38
Челобитный день	52
Танцы, баня и лекция	66
Военная потеха. Смотрины	84
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Михаил Крупин

Чертольские ворота

© Крупин М. В., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Знак информационной продукции 12+

Легкая победа

Пал первый снег, и состоялась царская охота...

В первом по старому счислению часу, в синем предчувствии света, вышел косматый тихий поезд – из Москвы в Царево займище.

Покачивались в такт оглобель легко очерченные снежком, как попало вываленные из саней края медвежьих полостей. Хоть княжески, царски холеные и принаряженные, меринки все бежали понуро.

От задов столицы, остающейся за полукруглыми, загнутыми на поле полусвета спинками, еще долетали лениво напутствия всех проснувшихся сегодня простуженными, чуть живыми, петухов и кленовых, целыми заиндевелых, журавлей. За ними таял перезвон окраинных посадских колоколен...

Впереди светало: от тонко зеленеющей далече волны – из мрака все приходило в неустойчивость...

Между боярских возков, придерживая шеи горячащихся по перевозимью аргамаков, сновали веселые польские капитаны и стольники-охотники, с ними был и царь. Бóльшие же вельможи нарочно, державственным весом своим, вжимали санки в звучный снег и, осаживая каблуками возчиков, гордо задерживали все движение.

– Это молодым царькам нужны потехи, а старшему глубококровному сословию уже только почтение... Да грешная

истома властолюбия, вот и весь зуд, и весь покой...

Несмотря на рань, было не очень холодно: тулова князей обогревали шубы, щеки грел мороз.

Подымающийся свет утверждал и усиливал тьмой черты возков и путников. Кусты на медленно передающем свой свет небу снегу виделись зловещими провалами куда-то, а полевые рытвины и придорожные широкие ухабы – слабыми тенями от запорошенных стоеросовых трав. Мягкий рассвет пока не различал ни цвета платий, ни масти коней, – и всадники, на чуть отдаленный взгляд, летали разрозненно-тесными и бесславно-одинаковыми. И только в открытых розвальнях бояре переливались уже дорогой цепью.

Это сквозь иней просияли радужные лисы и соболя, крашенные под малариуз бобры, лазурные песцы, в бечетах на стрелочках охвостей горностаи... Даже в лютые морозы вышагивали в сих пушащихся убранствах думные – не ежась, в свободной теплыни, ровно где-то в Греках или Иерусалиме – при самой колыбели человеческого православия. Не сжимаясь, как южане, разворачивались чувствованиями миров, страстями подлунными...

Нежно покусывали голые персты искорки особой усии, и боярин понимал, что мех его скрыто снабжен высокой благородной силой, как ногайчатым огнем – тучи густых небес. И пуще гордился боярин своим дивным сбором, и словно весь любовно уходил в бестрепетные чистые объятия тяжелой женщины – таежной лешачихи... Глуше, глубже думный

кутался в удельно-холмистый, темно-скоромный покров.

Меховой важный человек чувствовал, почти до осязательности мысленной, что не только честь и власть пускают человека в мех, но и сама теплица меха исподволь выпестывает, в даже невнимательной к своей одежде душе, ростки глубокого достоинства и самоволия таинственной тысячапалой мощи...

На Займище все было давно готово к ловитве: с лета выбрана земля из старых берлог и запечатано в них на зиму несколько молодых медведей. Над березняком всходили дымовые ладных охотничьих теремков, рубленных еще при Федоре Ивановиче, окаймленных многими клетями, ледниками и конюшней. На такое обжитое, от всех лесных страхов и неудобств хранимое местечко, на забаву, по цареву приглашению езживали даже бессильные старцы – с супружницами и внучатами.

В этот раз с царским охотным поездом везли и бедную царевну Годунову. Присутствие дочери умершего царя было окружено завесой тщательного умолчания – видно, о ней в поезде знали уже все. Тем паче, что Ксюша сидела, против всякого обыкновения, не в глухо-слепом, тисненном красиво каптане, а просто – в глубоких санях. Царевна сама отстояла сию привилегию: неволя девы рода Годуновых и при Григории осталась для нее неволей, но если дочь любимого отца и помыслить не могла об ослушании, то пленница влюбленного разбойника все же имела право на каприз. А от

суда людского нигде ведь оберега нет – закроешься в каптане, скажут: «вот, давно уж ни трона, ни жердочки за душой, а все велика боярыня – в какой каптан залезла, все туда же, хвост трубой!»; сядешь и на дровни, не похвалят: «не успела родню схоронить – ишь, на приволье вырвалась, страмница озорная!»

В рассветном рассеянии, затиснутая между новой столыницей Урусовой и недремлющей оглохшей старухой Волконской, Ксения глядела на блеклый, снующий, изменяющийся мир во все глаза.

На цуге бахматов сзади разогнался старший Шуйский и, зацепившись слегой за дугу царевниной упряжки, чуть не свалил ее и не опрокинулся сам. Бешено засигав из рукава шубеи плетью, Шуйский согнал «раззяву»-возчика Ксении прочь и сам напросился – как раньше на высочайшую честь – на облучок царевны, дабы с превеликим бережением доставить всю красу на поприще забав.

Князь Василий начал езду, как заправский говорун-ямщик, – с долгого своего повествования, не с вопросов седокам. (Или так еще делает человек, когда ему у собеседника выведать надо немного, но обязательно.)

Обсказывая, что у брата Митрия супруга на сносях, что дальнородный их племянник Миша Скопин неспроста вхож в семью царского печатника Головина, да все никак вот не посватается к его дочке, и прочее, князь вез как попало возок, почти отпустив на свою волю коней, – развернувшийся

вполоборота на козлах, следил за ответами уст и глаз у Годуновой.

Ничего не разбирая из того, что ему надо было, в утверждающемся свете Шуйский сам начал, кстати и понемногу, спрашивать – все прямее, все сердечнее...

«Вспомяни, Аксиныюшка, – сказал он наконец тихо, чтобы не смотрела глухая Волконская, – ведь я – давнишний друг всего вашего рода (твердь ему небесная теперь!), так поручи мне, старику, свою печаль-тоску... Ужо замолвит Дума за судьбинушку твою царю словцо... Али чем инако послужу?...»

Но царевну, знающую и уже обжившую свое совершенное безродство, только удивила опасливая родственность князя. Чуть не ежедневно Ксении приходилось отклонять воз мелких докучных услуг, предложений мошенника-монарха и Мосальских – радушных хозяев ее жилья... О решительной же перемене участи она уже мало мечтала. И каким калачиком не оборачивался с облучка к ней князь Василий, только помаргивала ему – так же вежливо и настороженно...

У Волконской вдруг настезь расхлопнулись веки, старуха, метнувшись вперед, вырвала у полуповернутого к Ксюше Шуйского поводья и снова вся завалилась назад, тяня за собой лошадиные шеи и трепеща – «тпр-р-р-у!» – до отчаяния мягкими губами.

Впереди, уже упершись сапогом в санное дышло, в плотном облаке дыхания остановившейся упряжки, сидел на ко-

не поперек дороги царь. Кажется, улыбаясь, он спрашивал:
– Управляетесь?.. Все ли у вас хорошо?..

Быстро поворотившись к всаднику, в каком-то дурацки поспешном, «сидячем», поклоне Шуйский ответил ему: «Хорошо!» и вспять, стопами и бородой, отворотился к царевне – скорее разглядывая, явил ли он ей свой, весь восстановленный в былом величии обычай, использовав вдруг родовую привилегию – держать перед царем односложный ответ.

Волконская вручила, разобрав, князю Василию вожжи. Царь, смутясь, посторонил коня, двинулся подле Ксюшина возка – сначала молча, потом разговорился о погодах в государстве...

Еще издалека пустым усталым оком зимующего ястреба Отрепьев улавливал жизнь в одних низких санях... Долго не приближался к ним на расстояние беседы, вяло клял приглашенных на ловитву по железному установлению бояр...

Когда же князь нахально перелез в Ксюшин возок и зашевелил бородой, Отрепьев наструнил ту же и понемногу начал вдруг иначе рассуждать. Что ли не подозрительнее, если царь, чураясь всю дорогу барышни-сиротки, не перемолвит с ней словечка обычного? А всего-то чуток поговорит – вот и не будет у тонких князей повода к каверзе, позыва к сплетне...

Самозванец смело протрусил к возку царевны, оставив капитанов и драбантов, уже не тратя время на разгадывание –

что там может хорошего выйти из уединения ее с ясновельможным паном Шуйским? А что плохое обязательно из этого получится – Отрепьев и так хорошо знал.

И впрямь – едва подъехал, вышло еще хуже. Ксения отвечала ему в свободный подголосок князю, нарочито отстраненно, небрежно и резко, чего не было уже давно, и, отъезжая в уязвлении, Отрепьев проклял миг, когда позвал ее на зрелище медвежьей травли: теперь он перед всем суздальско-ростовским князем отмечен бесчестной чертой. Не удостоивший больше ни словом, ни зрачком горлатного Василия Ивановича, царь только как будто зажмурил и бугорки за ушами, и спину – на взошедшее позади в мелких лучиках его лицо.

А между тем за спиною царя Шуйский сам съезжился на облучке, в руках у него тряслись вожжи: боярин снова ничего не понимал. Ответствуя самозванцу Ксения испуганно, приниженно или, напротив, злобно, Василий Иванович знал бы, что ей предложить. Расплывись вся вязкой сладостью пред своим государем – тоже ясно, играть только пришлось бы тоньше и... как бы в попятном направлении.

Но через какую брешь влезть в помыслы, в страхи и хоти вот к такой? Чем блазнить прикажешь человека, уже провозглашающего в самой середине земного царства полную свою удельную невозмутимость и свободу от царя земли?

Шуйский не знал того же, что Отрепьев. Даже темная надежда на большой дар лицедейства у их подопечной сама по

себе не наделяла никаким дальнейшим знанием, ни на вершок не открывала мягкую чью-то – кажется, заснеженную – маску.

Наверно, уже только в ровном дневном свете, уловив миг, смог бы кто-то различить, что отплывающего, одинокого на огромном приукрашенном коне охотника – безвластного и беззащитного перед сонливо роящейся в толстых стволах шапок Думой бояр – было до слезинки сердца жаль и даже впервые жутко за него...

Медведь вышел как шар – весь в не поспевающих за ним, круглых жировых жерновах, – смурной какой-то и сосредоточенный со сна, проломился он сквозь можжевельовый куст на опушку. На миг и куст, и медведь исчезли в облачном белом столпе над сияющим мозаикой горбом сугроба.

Точно мучную, зверь разогнал снежную пыль, страстно крутнув жерновами, и неохотно понюхал все стороны.

Неизвестный ему зимний лес гадко звучал. По всей оцепленной пятине схлопывались медные ладоши чьих-то лап, ругались отрекшиеся родичи волков, играли коровьи рога и здоровые невидимые соловьи громыхали и клацали самозабвенно.

И тогда царь звериной Руси поскакал вперед – к давно глядящим на него недвижимым, тихим людям. Перед людьми, что дышали в одеждах зверей, плотным защитным рядом – заплетясь оглоблями – дыбились розвальни без лошадей.

Медведь приостановился.

– Дозволь, что ли? Начну, государь? – попросил человек, сидящий, свеся ноги, на одном возу.

– Приткни бунчук, казачок. Сказал, сам. – Нарядный, раз-вернувшийся тысячью иголок искр, охотник прыгнул с санок – опершись на длинную рогатину – во внутренний безлюдный круг, где лишь зверь, недоумевая, простаивал.

Отстегнув с ремешка пустой блестящий рожок из-под пороха, охотник пустил им в медведя, дразня и приглашая его к полю, к поединку. Медведь не знал, что ему делать с железным пустым конусом, и сплюснул его в лапах уголком.

За санным рядом одни люди сразу оживились, другие – замерли.

Следующий рожок медведь расщепил на небольших средних зубах-резцах – как будто каленое семечко. И хотел отойти уже подальше от греха – от назойливого воинственного человечка, кидающегося безвкусными предметами, но тут сзади бешено взыграли трубы, человечесьи и собачьи голоса, захопотали дулья за кустами: там подымали новых заспанных зверей доезжачие и музыканты оцепления.

Раскрасневшийся охотник, трепеща от нетерпения, вырвал из-за пояса пистоль и тоже метнул ее в лоб своего медведя. Боярские детишки за санями шумно заробели: им казалось – медведь вышел из мамкиной сказки, где он с удочкой сидит над озером, готовит щи, прибирается в своей избушке и стреляет из дробовика.

Но зверь ничего такого не умел – он с досады изломал пистолю, как сухой сучок. И наконец повернул к обидчику круглую, от гнева тяжелеющую голову.

Охотник заранее приставил рогач черенком к ушедшему в снег сапогу и опять смешливо оглянулся на отверстые рты наблюдателей, кого-то ища...

Царевна понимала, что на самозванце, вызвавшемся открыть охотницкую зиму, надежный доспех под армяком и, скорее всего, стальная ермолка под шапкой. Вокруг полно оберегателей, и, вообще, Ксения как-то знала, что женщин возят – хвастать перед ними удалью – только на маленький риск. Когда же опасность и впрямь высока, мужчина биться станет осторожно, даже робко, либо уж грубо, может, подло, нимало не заботясь о красивости осанки для восторга баб. Так что не возьмет он баб туда, где чуть мерещится нелестный ход или худой конец сражения.

И Ксения, дочь отцарствовавшего боярина, почти не шелохнулась чувством ни когда явился в куст медведь, ни когда вышел встречать сановитого гостя на уровень сугроба русский подставной царь.

Заметив рисковый скос глаза охотника, отстегивавшего булатные бирюльки, в свою сторону, Ксения вовсе отворотилась от поля, лишь крайним лучиком зрачка более чувствуя, чем видя, колебания крупных фигур на снегу.

Уже рядом кипели литавры и сурны. Видно, совсем оду-

рев от низовой ловитвы или в насмешку ей, застучал прямо над ухом по ольхе дятел. К дереву с одной стороны были при-слонены заостренные с двух концов слезы – невнятного значения, а с другого края ольхи на складном немецком стуль-чике посиживал князь Василий Иванович, рассеянно посве-чивал из длительных морщин.

Пастью к корявому защитному ряду отворялась, чешуй-чато-сканная от копыт, лежа санных следов...

Какое-то неслышное смещение на белом поле заставило Ксюшу вздрогнуть и взглянуть туда.

Медведь уже летел – маша и трепеща, точно крыльями, жирами, подбитыми мехом.

Охотник стоял как подобает – чуть направо отклонив ро-гач, но сам в этот миг не смотрел на противника, как раз оглянулся – смотрит ли царевна? – и таки повстречал ее гла-за.

Медведь набегал.

Где-то, трудно, как одушевленный и душимый взвизгнув, перевернулся воз, – опаздывая, скатывались в снег доезжа-чие...

У Ксении как от теплого ветра расширились зрачки, ей казалось, что охотник целит ей в глаза невыносимо долго, пусть это даже один миг. (Доспех-то, конечно, доспехом, но и медведь медведем!)

А охотник смотрел и смотрел, завернул выю: вера, страш-ная робость и точная дерзость, лукавство надежды и сила от-

чаянности совместились как-то под пятнистым кругом оторочки одним устремлением – кажется, посеребренным на своем пути енотовые волоски.

Ксения крикнула бы в ответ что-то или не удерживала бы в ресницах удивительный, понадобившийся ему как на грех сейчас ответ, если бы не помнила почему-то еще, что князь Шуйский совсем невдалеке клеевито пристыл к дереву.

Зверь – как нырлящик на семеновском лубке – замедлился, завис на двух лапах в полете: будто угроза разозлившегося человека вдруг отпустила свой загребший зверя поводок... или даже поводок перехватили сзади чьи-то руки.

В этом мгновенном замирании с остановившимся медведем, случайный ангел-зимородок приподнял было царевну под ложечкой, над сердцем, и чиркнул перед ее глазами сорвавшимся кратким крылом.

Шуйский, Отрепьев и медведь смотрели на нее, и Ксения, не выдержав прямой потравы чувства, тихо – так тихо, что не было чужого шевеления в ответ, с обтянутой тафтою лавочки встала на снег и пошла глубокими коврами – по востекающему ясно солнцу – на этот дальний восток.

– Удар, Димитр! – завопил страшно Бучинский, все время видевший лишь пяточок поединка.

На пути царевны сгучились, подламывая ноги, запряженные в каптаны сизые лошадки в яблоках – темнеющих сквозь иней. Они, верно, устали от пальбы и музыки и чувствовали

зверя, хоть были оставлены в загибе ста сажень от охотной пятины.

Дремлющие в теплых вязеницах руки возчика легко отдали ей набрякшие вожжи. Ксюша лишь тряхнула их, подобрала под облучком упавший кнут: лошаденки как ждали скорей уйти с жуткого места – бросились вниз по какой-то ежикой тропе.

С греющим ветром снежное искрение внизывалось ей в лицо, шарахались, хватались за склон васильковые кусты, а над этим мчимым светом – вторым солнцем поднялась, выплеснув круг льда забытья, и высоко стояла иорданская вода... Крещенский дальний берег. Хоругви у толп. Стрельцы с маленькими золотыми топориками и чернецы с тяжкими половиками...

Обходя справа, что-то кричали из саней Урусова с Волконской. Справа, со своего коня прыгнул на спину выносного из царевниной упряжки доезжачий и медленно вывернул цуг, в какую ему надо было сторону.

– Аксюенька, государыня-брусничка ненаглядная, вставай. Ксюечка, просыпайся, – плавно пела стольница-постельница. – Невестки Шуйские пришли и на крылечке стоят, в большой терем полдничать кличу-ут...

Напев Урусовой хотел закрасться в самый сон хозяйки, чтобы вести ее к пробуждению как можно учтивее, постепеннее и мягче, а на деле только глубже усыплял.

– Не хочу... я утреничала хорошо... – сквозь пуховую теплую облачность сна лепетала прислужнице Ксюша, слабо перекрестилась и перевернулась на другой бочок. – Ты им скажи, занемогла... Ну их, офрось, кикимор этих...

И царевна снова засыпала в полутемной горенке, грустно, неровно благоухавшей прошлым внутридеревным уютом, как любое русское жильё, топленное во всю зиму меньше двух дней подряд. Вместо отчаянного бегства наудачу с утешной поляны, Ксения с помощью подсевшего возницы, со скромной неуклонностью, похожей на чье-то ветхозаконное, не обижающее никого насилие, попала вдруг первой обратно – на займище... Зато теремок себе здесь она уже облюбовала сама – при въезде в слободу ответив на единственный вопрос возницы. Дом самой простецкой, видно, недавней, стройки.

– И то, чего туда ходить-то? – уже громче сказала в спину засыпающей хозяйки стольница. – Там, они бают, уж и гусли, и другая всяка музыка уже. Наверное, и свистопляски будут – вот безстудие бесовье... – заметала быстрым крестиком себе живот и, помолчав, логично заключила: – А я схожу, пойду. Так, поем хоть, погляжу. Мне без полдника-то что-то и не млеется... Для госпожи моей медвежье крылышко откуда-нито оторву...

Урусова еще чуть-чуть поговорила неведомо с воображаемым кем, – пробуя, может, язычок перед беседой в обществе. Ничего этого Ксения уже не слышала, но осязала яс-

но через сон, что где-то замедленно пересчитывают струны домрачей, проливается на снег вишневое вино, и на лавке возле ее теремка сидят две бабы в мехах – жены младших братьев Шуйских, выпивают и закусывают, и поглядывают на ее окно. Потом и это ее сонное осязание ослабло, уступив свободу чему-то неделимо-беззаботному и непонятному.

Когда Ксюша открыла глаза, в горницу низко светило солнце, так что Ксюша затруднилась сказать сразу – долго ли спала, нынешний ли это не свернется вечер или простерся новый день?

И никого не было в комнате. Прохладно было и тихо. Ксения откинула замшевую оленью полость и потянулась к окну.

Под серебряными ветлами на длинной завалинке, покрытой крупным неприкосновенным одеялом, с лета не сидело никаких боярынь. В мирной режущей глаз белизне пропадали дворы и дороги... Ксения зевнула с мягким отзвуком, думая, что – одна, но тут же дрогнула от приглушенного порсканья невдалеке – то ли смешка, то ли всхлипа.

Остывающая печь-варяжка разделяла своей выбеленной плоской шириной две комнаты. Тонкий простенок, как ему и полагалось, неплотно примыкал к печи, оставляя с обеих сторон щель в вершок. Ксения подошла и смущенно, но неудержимо – вскользь оглянула эту щелку, и ей показалось, что посреди той комнаты к трапезе широко накрыт стол и за ним тихо сидят люди – ждут, когда проснется и подсядет к ним царевна.

Тогда Ксения придвинулась поближе к щели и, упершись плечом в чуть теплую заслонку, посмотрела внимательнее.

За столом сидел один царский расходчик Бучинский и, сунуясь, мелко, жестко подрагивал. На столе перед ним не было ни изобильной снеди, ни питья (Ксения спуталась, глянув издали небрежно), а там располагался перевязанный вдоль и поперек бело-багровыми тряпицами царь.

– Уже лучше твоему величеству?.. – спрашивал звонким, обрывающимся шепотом поляк. – Не полегчало ли, душа моя?!..

– Еще хуже... – вяло отозвался царь. – Душа как будто полегчала... Скоро, наверно, улетит...

Бучинский затрясся быстрее.

– Ух, пощади, почекай трохи, – выговорил он, немного успокоившись. – Шредер с Кремля всех снадобий от ран твоих великих подвезет!

– Пусть попа заодно подвезет, – знай гнул свое Лжедмитрий. – ...Я уложил ошкуя, но и зверь меня достал, – зачем-то прибавил он, чуть погодя, как будто Бучинский и сам лучше него это не знал. Возможно, тяжелораненый уже начал свой бред. Впрочем, он тут же осмысленно поинтересовался – где сейчас все бояре?

Бучинский отвечал, что все уже разъехались: для общего спокойствия боярам сказано, что царь о зверя только легко поцарапался, оправился и ускакал вперед.

– Езжай следом, скажи... – поднял бледную длань

несчастливый охотник, – скажи, пусть ищут себе нового живого цесаря... Езжай, велю... Грехи, какие насчитают, пусть простят... А я хочу только с лебедушкой, с царевенкой моей, проститься... Согрубил я как-то по-кабацки перед ней...

– Да, да, – вставая, подтвердил Бучинский, – поэтому ты и повелел занести себя именно в этот домик, – словно царь просил ему напомнить, как сюда попал: видимо, и у Бучинского от горя ум за разум поворачивал уже.

Прощаясь с русским царем, Ян быстро стукнул лбом о край стола и, захлопнув руками лицо, весь сотрясаясь, вывалился вон из горницы.

Ксения тронула посланное на серединной широкой скамье, принятой ею сперва за обеденный стол, осторожно, одними пальцами.

Охотник медленно раскрыл глаза и тихо сказал:

– Ксюш, извини, я согрубил перед тобой... – и стал покрываться от ушей волной недоброго, кремлево-кирпичного румянца...

Ксения хотела пересчитать и понять его раны, но сразу запуталась – у нее сбилось сердце.

– Да кто ж накрутил тут такое? Дай, перевяжу, – все-таки бодрясь и отвергая пуший ужас, наконец рассердилась она и мягко потянула за нелепый узелок, закисший в бурой киновари на боку у человека. Но вмиг человек выгнулся и с страдальческим присвистом зашипел.

– Ой, прости... болит? – отдернула руки царица.

– Так, чешется немножко, томит, – опав, мужественно улынулся больной. – Ты просто ладонь положила бы, разу мне помирать отрадней станет...

Раненый снова побледнел, голос, несмотря на видимые муки, звучал ровно и чисто. То ли падающее, то ли восстающее светило зажгло красным справа его неуследимые кудри... И глаза ущербным, старым светом резали взор Ксении.

Она возложила, как он просил, руку, чутко погладила его обвязанные язвы – присев на лавку, на которой до нее сидел Бучинский.

Но скоро Отрепьев снова весь напрягся, его глаза заволоклись каким-то дымом, с уст сорвался опять темный стон.

– Не больно? – испугалась гладить Ксения.

– Нет, уж ломит в другом месте...

– Где? В каком? – тревожилась царица.

– Да там, дальше, – примерно указывал глазами, опустив подбородок, он.

Ксюша немного краснела.

– Может мне тогда уйти?

– Да, уйди уж лучше, – обрадованно соглашался он, но через малое время опять звал из-за тесовой перегородки:

– Ксюш, иди-ка! А то я без тебя тут совсем отхожу.

Ксения шла с колотящимся сердцем. Все то, что рвами и рогатками громоздилось между ними прежде, вдруг разгладилось, сравнялось. Только тот же угловатый пояс червчато-

го камня, издали будто двинувшись бесплотно, тот же, да не тот – в окнах теперь смутно-фиалковый, кажется – наклонный, внове – еще родней, тяжелей в первой своей чуть-ощутимости – вдруг охватил их проще прежнего, сомкнул-таки покойные объятия, сумел сковать...

В полутемных морозных сеньях, на переходе из горницы в горницу, не было и слышно никакой прислуги, Ксения громко звала – никто не подошел. У печки свалена была охапка березовых дров с налущенной щепой. Царевна открыла поддув, отвела заслонку вьюшки и на блуждающих лениво по дну топки, преувеличенных яхонтах засветила бересту, насовала сверху поленьев. Впервые сама затопила она печь, все легко получилось у нее. От такой удачи Ксения немного успокоилась, постаралась даже высмотреть в ней какую-то добрую мету, дозволение упрочиться в надежде...

Она попоила водой из чумички, висевшей на кадке в углу горницы, своего страдальца и опять присела в изголовии его – почему-то склоняясь, коснулась его виска носом, пряди – щекой.

Она чувствовала, сейчас надо бы сказать ему... Но вместо слов чинные странные слезы прошли, отнявшись от ее шепчущих что-то себе самим ресниц, по его щекам...

Раненый тоже притих, тепло увлажненный. Понемногу тончайшая полость сродства закутала их головы, уста и носы, скулы, рамена, длани...

Отрепьев начал обращать тихонько голову. Храня его от

лишних потуг и кручин, сиделка, не противореча, сама поцеловала его коротко, дружески в губы, потом сразу еще – и еще. И надолго их скрепила со своими.

В том, что сейчас делалось, Ксения совсем не почувствовала стыда или бесстыдья, или испуга греха – вообще, какого-нибудь срама или совращения. Будто бы сладкая озерность – чистая, томительно-узкая плоскость, и уже совсем, кажется, рядом весь береговой покой, дались ей.

Обняв за плечи, Отрепьев потянул ее к себе. Чтобы он страшно не выворачивал завязанную шею и не тратил зря остатних своих, дорогих сил на мышцы упрямства, Ксения тоже к нему прилегла на высокую лавку, вся обвила счастливого несчастного собою – как уж сумела: сразу преображая возможную часть его муки в усладу и эту озерную усладу впивая и в себя.

Подле них застрекотала уже, дыша, печкина топка. Царь ясно пылал. Ксения с помощью больного стянула с себя лищицей подбитую кофту – кортель.

Отрепьев легко перевернулся. Коротенькие мускулы его лихорадочно и чисто ходили под китайчатой жесткой парчой, в просветах натягивая льняное сукно, – царь точно не любил, а устанавливал, ковал какой-то свой указ... Или по частям громил чужой закон...

Ксения ни о чем уже не мыслила, успев только увидеть, что она сама и есть закон, и подлежит ему. Столетняя воинская усталость толчками выходила из нее, но не оставляла

за собой освобожденного девного места. Запутав руку в его мокрых огненных кудрях, Ксения, тиснув, рванула их – возвращая избыток ужаснувшей сласти малой мукой. Большой крикнул недовольно, но Ксюша уже не посмотрела на такой пустяк.

Выздоровливающий любимый разошелся – повязки ослабли и ползли, трепались, свесясь. Со лба его упала на плечо Ксюше сухая пятнистая тряпица, а под ней на лбу не было борозды.

Царевна задохнулась – хотела отшвырнуть трижды поддельного и подлого, но, простонав, только сильнее тиснула его себе в ноги, дальше зубами потянула за ухо. У озера и фиалкового узкого кремля был за пригорком поворот...

Но вот Отрепьев выгнулся последний раз и стал слабеть. Потом сделался весь сразу впустую-горячим, несродным царевне, немилым и липким. Ксения легко отбросила его в сторону спокойной охладевшей ногой.

Самозванец отсел. Сам зачерпнул и попил из чумички воды, стал вяло собирать мазаные свои, разбросанные завязки.

Ксения тоже подняла мятую улетевшую свою паневу, кортель, отыскала венчик с гребешком. Нашарила в складках постельной тафты поясок и, не опоясываясь, раздумывая, отошла в красный угол – под привычно неприметный, затененный деисус.

Следивший исподлобья царь, памятуя давнюю опаску, перепугался пояска и подскочил.

– Да не бойся уж, не бойся... Было бы мне из-за чего... – опоясываясь, насмешливо успокоила Ксения.

Отрепьев, как ужаленный, бросился снова на нее:

– То есть... как это – было бы из-за чего?! – хотел заново, что ли, тащить на ложе, но, попятившись вдруг, остановился.

Его лицо как-бы проваливалось внутрь. Отдельно, мимоходом глаза изобразили окончательное бесконечное отчаяние...

Единодержец пал перед своей любовью на колени, а ее ноги обнял – еще чувствуя и вдыхая через опашни что-то одному ему известное. В задумчивости Ксения запутала руку в его смеркающихся прядках...

Глухо звякнула слюда в оконнице – кто-то бросил со двора крепким снежком: на слюде извне остался темный след. Глянули – по глубокой тропинке к крыльцу пробежал Ян Бучинский с поддоном, накрытым серебряной полусферической крышкой. Карман его камзола штофно оттопыривался – моталось маятником, чуть выглядывая, запечатанное горлышко. След в след Бучинскому по тропе бежали стряпчие с дымно-хвостящими на холоде, задраенными «передачами».

Царь открыл другу и сам молча принял у него горячий поддон с рукавицами-прихватками. Тем же хапком, мизинцем, подцепил за горлышко, зажал малахитовый штоф в кисти.

– Ах, моему государю уже лучше?! – громко, правдиво, подивился Ян, быстро зыркнув в глубину беззвучной ком-

натки – туда, откуда он был виден Ксении.

Отрепьев буркнул что-то в ответ, кажется: «Хуже еще...», толкнул коленом Яна, и тот сразу стушевался в занавесях.

Отрепьев умело, без стука, опустил на стол вино и тяжелое блюдо. Варешкой отвалил скользкий полукруг – облачный клуб взошел над черными ломтями, присыпанными травкою-козелкой и сорочинским пшеном. От омерзения и жара ворота нос, выгнув губы, потянул ножом плохую корку, и сразу под ней улыбнулось нежно-ало, дохнуло волокнисто превосходное медвежье мясо, испеченное в углях...

Три беса

Шуйский, как узнал о помиловании в северной ссылке, тихонько заплакал – до топки пропитал все лицо влажной умиления и благодарности.

– Государь... да государь... – все повторял, не найдя сразу сердечнее слов.

Да уже по дороге к Москве (не переправились еще через северную узенькую Волгу), едва засуетились вокруг приехавшие встречать свои холопы и безродные дворяне костромских городков, и князь увидел давешний свой страх со стороны и высоты – все посрамление седин и крови, бесчестие и пресмыкание у стоп усиленных мира сего (вспомнил всю «казнь», Лобное место, обложенное хохочущей чернью...), как боль непоправимого стыда зажала княжье сердце – всю дорогу морщился уже без слез.

Теперь видел перед собой, будто въяве, того обуянного последней наглостью вшивого пса, горохового скомороха, что был повинен в позоре и дрожи его, в мучительных для его старости тревогах последнего, «в опале до удушения», месяца – когда каждый слышный шаг леса за окном был делом хлеще Апокалипсиса. И очи князя, глядящие то в чистый хвост коренника, то в сорные прогалы лесов, то на деревья полей, перед собою не уразумевали их, наливаясь атласно и ало.

Ад стыда и опоздавшее сознание своей чистой бестолочи возможно было деть только в лють и в страсть мести. Князь успел все же немного «принять узду», пробовал даже целиком принять ее совет – смирить гнев: душе и телу безопаснее. Но раздирались «поводья»: злая сила влетела из сердца в самую мысль. И – как легкою саблей очертя ей голову, князь таки понял, что бояться ему сейчас нечего, и больше не боялся думать, понеже пока думал только, а не действовал...

К ожившему старому негодованию, что владело Шуйским со дня вступления в столицу беспортошного царевича и подвинуло князя поспешить с крамольным деланием, самого его приведшим на грань топора, прибавилась теперь, лезущая из невозвратного срама, жажда обязательного возвышения, конечного смеха над расстригой. Тогда только – с этим последним, торжественным хохотом – свое прежнее бесчестье померкнет перед тем, чем на вечные веки унижен и истреблен будет Прохвост, померкнет и канет... Если даже не станет оправдано. Самой вещью отмщенья. Ведь оправдать – это еще лучше?

– Ничто, ничто, – уже бубнил в замусоренные нечесанные усы Шуйский. – Это даже лучше... Теперь сподобнее за дело взяться... Мученик в глазах народов я... Один, кто восстал... Чуть что – Гад осклизнется, путь отворен...

Василий Иванович все более убеждался, что он во все худое для себя время и трусил, и глупил, и расстилался пред аспидом, единственно разумно, верно и хитро. И вот что

страшно и чудесно было: в срамном прошлом все выходило теперь так необходимо, так уместно именно в видах дальнейшей борьбы и возмездия. Шуйский сам теперь дивился собственному точному расчету и большому дальномумию.

Отрепьев думал: ежели статный дух мужчины близок духу тоски девы или женщины, а силы разума и воли его легко торжествуют над слабостью тех же ее свойств, то поневоле жена пожелает подчиниться сему мужу и женски, а грешен муж возобладает ей мужски.

Это правило ему растолковали еще веселые социниане в Гоще, он сам потом на вишневетчине и в боевом походе не раз поминал их правоту. Отрепьев ждал, что закон этот решит судьбу тайной его высочайшей избранницы только скорей чьей-то другой. Однако после первых же свиданий с Ксенией он вдруг увидел, что не только не смыкается с ней духом, но и не превосходит по уму.

Беспомощно почувствовал он наконец всю чужеродность своего запарившегося, чуть не испарившегося в котлах смуты сердца всему, что дорого и ясно ему в ней. Между ними еще оставалась какая-то тонкая, срывающаяся то и дело леска... – о пресвятых подергиваниях ее в тумане Отрепьев уже ничего не мог точно сказать: что в груди берedit она – любовь или вечный привет?.. Он еще тяжело влеком или уже наоборот – злобится и отвращается сердечно?..

И тогда, к ночи, без суеты вползал, втекал, метя хвостом

и неукладывающимися в спальне крыльями, к человеку демон. И нашептывал хищно и нежно: да пооди, ворвьись ты к ней, сделай с ней все, что умеешь, раз хочешь. Окорми ее сластями заповедными, заполони дивной, непобедимой ломотой в костях, весенней спешкой в подымающихся венах... Пусть весь ее высокий строгий ум и упорство души ниц падут перед тобой... и трудно восстанут, уже причастившись твоей жажде и гордости!.. А ты со своей счастливо падающей высоты, царя и рабски вспотеваая, будешь играть, двигать ею, и еще залюбуешься единым вашим точным послушанием...

Но еще лучше, если свет разума и стыд (х-хм, так и у тебя бывает) не покинут ее совсем. Тогда она – едва дыша чуть приоткрытыми устами, тлея ланитками, не размыкая в нестерпимой неге маленьких ресниц, сможет удивленно наблюдать само рождение свое для царства бесного. Так – только живей отзовется на каждую черточку искусной услады, вскользь обозревая пустяшную даль прежней своей чистоты, пустяшную, но очень нужную теперь – как самая основа своего раздрания... Так – строго признает нашу полную победу!..

Так подговаривал Отрепьева злой дух, бес верил – едва Ксюша благословит где-то в тайне души тонкое чудо греха – тем сразу скрепит союз с ним, мятежным князем мира сего, великим ханом стран исподних. В оных же стройных странах честное благослужение вечно несут его древние кабальные и крепостные, ревнивые сподвижники его...

Отрепьев у демона много не понял – про этот тройственный, с ним, собой и Ксенией, союз. Но в удушливых мечтах уже сорадовался – как всякий, чей сосуд души уже взят легонько за горлышко чертом, – успеху этих цепких уз, связывающих воедино несцепимое – благодаря мгновенной хитрости развязывания других концов мироустройства.

У царя тогда не выплывало еще на свет понятия, что в грезе его именно темная легота и сытная запретность прелюбодейния так радуют – пожираение высшей какой-то, твердой и скучной гармонии неунывающим земным жуком, восстающим на нее со своего дрожащего листка и – неуязвимым кубарем срывающимся в пропасть.

Но Отрепьев никуда пока не брал с собой осатаневшего жука из спальни, не седлал с дружкой коня, не спешил за полночь у южного крыльца хором Мосальского... «И то сказать, куда спешить?» – пускался в привередливые рассуждения перед демоном, засомневавшись вдруг в непогрешимости его плана. – «А ну как не заладится что-то?.. А вдруг Ксюша, презрев-таки мою насильную усладу, наутро поцелует крест да и ринется с балясника вниз головой – как и клялась?» Демон кряхтел в ответ, себе на уме, – выжидал. «Ха! – низведи ее на первый ярус без подклета! – вился бессонный демоненок поменьше. – Все шнурки и ленты, занозки там, иголки, пилки убери – всего ж делов!..» «Ну поди же к ней! Как ты терпишь еще, я не понимаю, поди, поди, – снова цвел бас старшего беса. – Я там пособлю, уж подержу за шкуру»

– в этом даже и не сомневайся никогда... А то что ж это, черт тебя дерит? Все литовские «зухы», все свои окольные скалятся за спиной в кулаки! Да царь ты или не мужик?!.. Конечно, теперь, после всех этих овечьих бесед тебе будет трудней – деве сразу надо показывать ее место! Оно – под тобой!»

«Так может, лучше... – неуверенно предполагал Григорий, – не ее с выси стягивать – забивать под мя, а наоборот тогда: как-нибудь мне – наверх к ней... и еще чуть повыше?» «Ну, это уже не по мне, – обижался большой бес. – Ишь куда захотел – в небеса? Там сущий ад. Не приживешься там – знаешь, летать будешь как... По указанию этих... Да нет, брат, там тяжко... А по вопросу любви туда вроде бы даже и неудобно. Спокон веку все вроде бы с этим – ко мне... Ну смотри, надумаешь потом – локти заставлю кусать, не пеняй тогда, что шея у тебя короткая, а грабли длинные».

Только ближе к утру доброжелательных демонов одолевала усталость, и Отрепьев тоже устраивался на ночлег, калачиком сворачиваясь в их преющем, жестком меху. И лишь при вторых петухах бесы совсем исчезали, оставив на подушках талый след и клочок поблескивающей шерсти, похожей на неплотную ткань-кызылбашку, в спящей ладони Отрепьева. И тогда до невидимости пресветло-прекрасные, пресильные до неосятмости их прикосновений, божии ангелы ставили длани свои под холодные пятки Отрепьева и самую малость толкали его, и он взлетал – высоко над землей, пла-

ча и освежаясь еще непрозримым с земли, подымающимся солнцем, и долго летал над своей маленькой Русью, потом все же – волей-неволей – терял высоту, на страшенной скорости врзался в ствол большого сумеречного дерева... Тут и просыпался – живой, хорошо отдохнувший.

Отрепьев глядел в щелки окна на страну, выроненную ему в руки Годуновым, и порою мучился, попеременно разгораясь и черствея. Чуть нарыв подживал, и Отрепьев, взбадриваясь, успокаивался – как вдруг, мрачно осветясь душой, сам раздирал корку сукровицы, которой затягивалась странная ранка...

В такие минуты царь что-то искал вокруг себя по стенам, полкам и столбам чертога и не всегда понимал, что же хочет найти, – ведь парсуны Годунова быть во дворце не могло уже нигде. Не находя парсуны, Отрепьев начинал чуть подвывать в смиренной, камкой приглушенной тишине, потому что становился Годуновым сам.

В подвластной самому себе стране окрест – он все узнавал державу Годунова, в пробе своих помыслов – слепо просвечивающие его дела. Вдруг яснее своей вины в казни семейства врага, на кончиках чьих-то языков, омывающих сердце, он чувствовал распахивающийся в нелетнюю прохладу легкий вырез на гортани одинокого мальчишки, севшего на выкошенном, большом дворе...

До того еще, как гонец на левом, низком, берегу Оки по-

дал Отрепьеву лист, сообщавший о побитии злодеев, расстриженный монах привстал на троне, когда в палату забежал лазутчик-скоросольник и без слова, без шепота, только потайным знаком (отер рожу цветным платком) известил, что тот отрок на дальнем удельном дворе...

Он, Борис Отрепьев, почувствовал тогда, как все тело его, ужасаясь, смеется, ликует – словно наполняясь вольной, лучистой, парной кровью, как будто последний страшный трепет исторгавшейся из маленького Иоанновича жизни мог издалека и из вчера ему, Борису, передаться, мог сам по себе быть легко усвоен им. Борис тут же и устранился нежданной своей дикости, дерзейшей радости – унял напев сердца, быстрее осенился крестом, залопотал часто троичный конарх.

Не забывал частить царь тропарями и крестами и во все последующие дни, подрагивая и заболевая. Между тем уже впавший в него острый, живой кровоток муки отрока, мешаясь с боязливо-холодящей кровью самого Бориса, умирал и слабо тлел, отравляя плоть души единоподержца. В тонкой плоти глаз Бориса стал смеркаться свет и понемногу распаться мироздание – на истлевающие на глазах причудливые плоские кусочки, неожиданные лоскутки, бледные точки и искорки. Все вдруг в Борисе и окрест стало каким-то слабым и ненастоящим – видимым сквозь разъедающую жижу (может, таким был ядовитый торфяной туман из насмешливых сказаний сэра Джереми). Бессильный пустой голос просил

Вседержителя не карать крепко Бориса – не отымать у московской земли его. Покаяние звучало не раскаянием, мялось легко – ранее припасенным омовением, как после неотложного обычного греха с женой. Борис под струйчатые тихие молитвы подставлял те свои беззакония, что были давно защищены продуманными оправданиями.

Бесплотным, непонятым для Бориса сделалось все то добро, что собирался он сам утверждать на Руси, содейвая в веках себе имя. Борис протягивал градам и весям эти странные дары, но сам их осязал, только когда – невидимыми, но сухими, сыпкими хлебами – все они уходили вотще – сквозь его ненастоящие, обширно и безвластно растопыренные пальцы...

Тишина

– Помилуй Бог, это комедия Плавта или Теренция, что ли? – в изумлении спрашивал шляхту на сейме прошлой зимою старый коронный гетман Ян Замойский. – Тот, кто выдает себя за сына цесаря Ивана, говорит, будто вместо него погубили другого! Да вероятное ли дело, велеть кого-то убить, а потом не поглядеть, тот ли убит?!.. Если так, то можно припасать для этого овена или козла!..

Шляхта тогда хохотала, громыхала восходящими кругами глянцевого столов. Пристыженно-надменно отмалчивались на галерке Ежи Мнишек, Вишневецкие и региментарь Жулицкий, только что пришедшие несолоно хлебавши из московитских степей.

– ...Лайдацкий их набег, – вскидывал Замойский вверх коротким бунчуком, страдая сейм, – аукнется еще всей Речи Посполитой!.. Достаточно взглянуть на сына воеводы сендомирского, чтобы понять – возрадовалась ли Русь «царевичу законному»!..

Гетман Замойский сам не видел Стася Мнишка, но многие земские послы, ехавшие с малых своих сеймиков на вальный сейм одной дорогой с возвращающимися из русского похода рыцарями, уже живописали Кракову в деталях все тягчайшие увечья – колотые, рваные (это горячие – копейные, пищальные) ранения и холодные – битые русским яд-

ром места на пане сыне сенатора Короны.

В то время как отец молча просиживал заседания нижней палаты и лихорадочно шептался с Зигмундом в коронной раде, Стась все лежал в жутко натопленной хоромине во Львове – полковой лекарь не дал волочь его дальше, оставляя привилегированному жолнеру право и не умереть. Стась уже реже окунался в забытие, то была важная примета, хотя лекарь и не понимал втайне – добрая или худая? Поправляется изрешеченный воин или просто его ранам не дремлет больше от тех же бальзамов и зелий?

Главным в жизни гусарского ротмистра Мнишка теперь стала боль. И боязливое ожидание боли. Или радость, что она прошла. Даже страх умереть не был уже остер, как в первые дни просветлений – о шарахающую наперехват его вязкую палицу страх скоро притупился. До слабого, почти отрешенного, рассеянного любопытства: так или иначе?

Все душевные силы того, что оставалось от Стася, шли на прения с болью, и это что-то сделалось страшно упрямо. Оно нарочито, улыбочиво свыкалось с ней и отучалось от хрипов и стонов досад, только во время самых бесцеремонных ее выпадов дышало носом – шумно, часто. Простой, ясной целью было – сгоряча не крикнуть, и когда получалось, это небольшое (уже обрастающее новым Стасем) видело с удовольствием, что оно сильней боли. А значит, на земле или на небе, в конце концов торжественно отделается от нее.

Скоро Стась перестал вовсе звучать. Лекари и примчав-

шие сестры думали, что вот ему и лучше, и действительно, эта война вольного маленького с изнемогающим большим укрепила обоюдно дух и плоть его. Стась научился, хоть и не совсем понятным себе образом, приводить в недоумение и опровергать боль, как бы отделяя себя самое от страдающего, поругаемого места, и боль, вдруг иссякая, побубнив еще сердито, уходила. Когда она возвращалась, Стась, уже вопреки всякому смыслу, обязывал себя обрадоваться ей – как бы новой завидной возможности борьбы и победы, и боль боялась этой его радости, как целебного священного огня.

С уверенностью он почувствовал, что выздоравливает, лишь через месяц. Подробнее начал всматриваться в родственных и дружественных женщин и мужчин подле себя... Он ясно, тщательно вспомнил свою жизнь, но увидел, что глядит в нее с какого-то иного места – и он не прежний Стась, и мир, что возлежит вокруг него, сужающейся, заостряющейся лагуной уходит в прошлое иным. Еще до потасовки с недугом, в полугодовых трудах и подлостях войны за чужеземного царя, гусарский свежеиспеченный ротмистр узнал и запомнил уйму нового, но самозабвенный частый риск, а в остальное время тесная упертость в быт похода, вечные хлопоты в степях о хлебе, о тепле или коне насущном не давали ему связывать между собой дотошным чувством, тонкой мыслью все увиденное, емко разгадать. Теперь же, выходя из болезни, уже невозмутимо купаясь в сестриних ухаживаниях и все упрочавшейся своей телесности, ее

безопасности, Стась – помимо воли обращаясь к прожитому за последний фантастичный год – взволнованно и увлеченно рассуждал. Тем более что вслух говорить он пока мало мог (еще саднила, кровоточила прошитая поперек шейная мышца), но даже когда смог всю – не говорил: узнал цену молчания.

Он попал в какое-то особенное бессловесное пространство, переставая и думать при помощи слов – вестников быстрых, бранных чувств, витающих всегда поверх людей, закруживающих их вокруг друг друга наземными темными вихриками. У таких людей шум и скрежет общения не прекращается и в ночь одиночества, длится в кубках голов кипение – вечер дурных вопросов и кокетливых ответов, риторства, вранья и самохвальства... Стась, лежа, куда-то плыл в молчании сквозь прочную прозрачность времени, не зная трения, царапанья и трамбования между собою и судами человек. Предусмотрительно желая раздвинуть фарватер своей немоты, Стась на своей веселой «скорости» даже знаками объясняться с окружающими стал как можно меньше. Скоро он почувствовал, что и не может уже по-другому, не имеет ни умения, ни права – кем-то оно, взамен других, присвоенных ему высоких привилей, отобрано – как земля из-под ноги, и некуда было теперь ступить над волчьими ловушками. С прежним собой, говорящим, он словно не имел совсем общего, но чувствовал, как телесную возможность речи, свое близкое опасное присутствие. Стась, многому вняв

в молчании, мучительно не знал – как это новое, еще неполное, но уже вечное, переложить на человеческий язык, будь то холодноватая латынь, нежный польский или пространный московитов?

И надо ли? Возможно ли? А если и возможно, разве не рано *отсюда туда* возвращаться, вполне ли *здесь* окреп Стась? Достанет сил, чтобы два мира соединить? Не ждет ли поражение – вмиг аннексия всего, что приобретено упорством случая, детальным титаническим трудом ран?..

И Стась слушал дальше свою Тишину. По ней проходили голоса, речи людей, стук и скрип половиц, свое (или чье-то?) – нечаянно замеченной соринкой на окне – беззвучное древнее слово, глухая дробь сваленной перед камином охапки березовых дров, гул глотков из кубка, шум кринолинов, бряк сабли... – Стась различал все смыслы звуков, но они (даже самые чувственно-звучные мысли, если шли непрошенно) никак не задевали его самое, не нарушали Тишины – скорей подчеркивая ее, равно углубляя. Являлись, легко, низко сквозя в ней и обрываясь, как пролетает дальним небом горсть перегоняющих друг друга, рассыпающихся птиц, не властных ни над погодой в своих небесах, ни над остающимися твердо костелами, мягко – хатами и тополями...

Но говорить пришлось: врач осмотрел под канделябром горло, простучал легкие, нашел все в относительном порядке и начал заставлять младшего Мнишка говорить.

А Мнишек садким ударом взял и прихлопнул на влажной скуле у врача комара и мутным голосом прочел сонет британского купца Шекспира номер двадцать. Лекарь одобрительно и недоумевающе заулыбался, и тогда Стась перевел ему сонет с торгового английского на эскулапову латынь – без размеров и рифм, зато с падежами.

Он видел теперь все про отца, сестер, «царевну» Марианну, но, хранящий верность неспешнейшей поступи мысли, как «меньшее из зол», держащий куцы, приземистые речи (и те держащий на коротком поводке), он не торопился ни в чем упрекать родичей или оповещать о своем знании – все же любя их и не зная, как людскими, даже лучшими, словами тут помочь.

Стась уже вставал: «заправским ветераном» – торжествуя, прихрамывая, с тростью тихонько слонялся по комнате. Подходя к окну, будто тоскливо, да весело жмурился, строил рожицы мартовскому вязкому солнцу. Дорога к львовскому дому отца обсажена была чахлыми глогами и – совсем юными – стрельчатыми тополями, и была так пустынна и неуклонимо длинна, что если на другом конце ее показывалась – в открытой коляске, верхом или пешая, с корзинищами в руках – женщина, то, покуда она приближалась, в нее можно было влюбиться.

Скоро отец, в неистребимой надежде восстановить шляхетскую свою репутацию и карманное могущество (король

хотел уже взыскать с осмеянного на сейме приятеля ссуду, издержанную на русского принца), решил потаскать «восставшего с одра печали» сына по балам, указывая ему богатейших вельможных невест (как прежде возил дочерей на женихов). Стась возражал, но столь немногословно, что говоривший перед ним дорого и долго отец принял почти беззвучно павшие в тучный поток своей речи твердые его ответы за согласие. Куда только был сановнику доступ, сенатор, староста самборский и львовский, для начала сам поехал, набрал впрок частных приглашений для себя, для семьи. Мнишков охотно приглашали, выяснилось, что, несмотря на скандал (или благодаря скандалу?) заочно они уже в моде (в особенности Стась).

Раз уж умнеть сердцем, яснее в молчании, дальше нельзя, Стась, прикинув дело, по-старинке, по-гусарски решил – ладно, надо тогда хоть выезжать, и теперь приоткрывал для себя вдали и вблизи – новый, в гуле слов и копыт, старый мир – солнце, пески горней ночи, леса вдоль дорог на балы, и (была ни была!) ближних и отдаленных, себя. И свету встречных взглядов он открывался широко, но это лишь расположило к нему польский свет, где откровенность, даже нарочитая распахнутость и широта, чуть поновляясь, век не снашивались – излюбленной маской. Но даже лучше, если нрав ясновельможного ротмистра действителен – истинно легок, прост, раскован (как, впрочем, у многих, видевших смерть в деле и пересчитавших цену жизни), – это лишь упрочит об-

щий банк.

Стась беседовал с красавицами запросто, живописуя им морозный юг России, воинский поход, сражения, нежно пестуя недобрые и грубоватые, да пламенисто-ясные солдатские словечки, каких почему-то не допускал с сестрами. Зачислял в храбрую службу – разрывающиеся блаженно, точно пороховые бочонки, анекдо-были сомнительного приличия... Все прощалось ему. Его молодость, чистая свобода и свежесть – вместе с гусарством, игрой всех юнцов в опытность, с озадачивающей вдруг реальной искушенностью, задумчивой, непроницаемо прозрачной высотой, с прихрамыванием мученика, ветерана, – слагали героя неотразимого.

Поцелуи – украдкой, на лестницах, в салонных закутах – не заставили себя ждать... Стась думал с жадностью пить их, а они, как карнавальные бумажные цветы, сухие от нетающего серпантина, индевели на губах.

Солдат шел навстречу сияющим, в ответ своим сказаниям, глазам – и все обманывался. Несколько чуть более продолжительных и обещающих встреч – и сияние меркло. И что чему тут причиной? Какое-то, невнятное еще, разочарование жестко притушало трогающий изнутри глаза великий бред или само невольное спасение, нечаянное приведение в порядок глаз, за собою влекло разочарование?

Когда глаза гасли, Стась начинал вдруг различать все трудные огрехи, неисправности вокруг них – носа, губ, вкуса, ушей, скул, ума, подбородка... и ниже – талии, щиколо-

ток. Он с удивлением и неприязнью узнал в себе дикую привередливость отца, только отец всегда капризничал при составлении смет и обставлении комнат (то не хватало стен, то мебели, то италийского изыска, то британской сдержанности слуг, то на это – денег), а Стасю уже не хватало и того, что отцом как бы само собою, изначально разумелось внутри этого – требующего огромного труда, тревожной компетентности и последующей самоотверженной праздности – морхо-ампи-ро-зеркального мира. Не хватало уже и самого человека.

Здесь Стась и себя в строй не ставил, но когда он говорил (те слушали), вдруг ему мерещилось, что говорит чужой. Как зряшные куски алебаstra и мрамора, чьи-то подсыхающие, пусть влажные еще слова падали с тягостно-родного им – неуклюже выгибающегося и спрямляемого – губ излома...

Стась сообщал блуждающему рядом на балах отцу, старающемуся безошибочнее руководить сына (сообщал, тоже по-своему стараясь – избежать долгого бранного спора): «Я выведал у этой шляхетной девчонки – они уже на рубеже разорения; у вероятного моего тестя столько-то долгу», и отец тут же горячо одобрял желание сына расстроить уже слаженную партию.

Стась, впрочем, пару раз чуть не увлекся всерьез – и, как на смех, совсем без взаимности. Он кидал по ночам камушки в окна одной богатейшей невесты, пока ее отец, сделав вид, что принял младшего Мнишка за простого вора, не выходил

с мушкетом на балкон. (Стась был, конечно, для него вор не простой, а особо опасный: породниться с самым вздорным, в долговую яму целящим сенатором?.. – о мрак немыслимый!)

Стась – мгновенно, жженой шкурой, вспомнив русскую войну – бежал, пригибаясь к грядам пастернаков, и по кустам – напролом, к коню! Скакал прочь – весь прохватываемый созданным по своему образу ветром, неожиданно счастливый – спокойной близостью звезд, скалами и полями в мягком пепле от великого талого тех и этих звезд пламени, одновременно роскошного и бедного... Счастливый мленно – верным здоровьем, похрустывающей наверное еще, покомканной в перстах элегией (под свечкой на другом конце седой разбойничьей дороги), от смеха копыт подлетающей упруго гоньбой, учебной неудачей и чудесным спасением от пуль косоглазого, возможного в веке текущем «отца».

Стась никогда – и по неопытности, и по юной суровой правдивости сердца – не умел стусеваться, рассыпаться в мелких преувеличениях и, покидая подруг, не оставлял на том месте, где сам только что стоял, долго не оседающий, золотящийся сноп пыли комплиментов, философических смиренных сожалений, обманных вздохов и высокопарных благодарностей. И оставленные пробные симпатии его бывали не на шутку разобижены, а иные и оскорблены. Каждая в свою очередь, страшась, как бы невежа-гусар не огласил залов трубными звуками своей будто бы победы над нею, са-

ма спешила всюду прострочить, с живейшими подробностями, – как ротмистр на коленках бегал у ее ног, требуя взаимности, но она прогнала его навеки... Хотя правдоподобия ради панне приходилось добавлять, что какое-то время ей все же было жаль его – ребенка, пострадавшего на поле битв...

В гордости ее сказаний меньше лжи, чем кажется, – действительно, презрения и равнодушия, владеющих ею теперь, по силе схожих со страстью, хватило бы на тысячу славных отказов. Так деланно, но и впрямь обессиленно, разводит пустой пастью честный зверь – убедившийся, что мышь уже недосыгаема.

Все эти «леностно»-проворные сплетни и радостные пересуды (вместе с совершенно верным слухом о последнем, жарчайшем, увлечении сына сенатора, ружьем гоняемого от усадьбы «Креза») исподволь оттачивали образ извечно незадачливого селадона, со своей рукой и сердцем сующегося без разбору ко всем. Несмотря на язвительность было, впрочем, все довольно радостно, легкодушно... пока некий рыцарь (сам, кажется, не слишком далекий от обозначавшегося печального образа), выслушав сетования одной – пленительной в тенях аллеи, в полуфас – шляхтянки на невозможность, дикость поведения ребенка-ротмистра, не прислал вдруг Стасю своих секундантов.

Мнишек не очень боялся дуэли и гибели, ему все яснее верилось в поспраивание всех дольных смертей поперечной – слишком большой и острой для кого-то – костью смерти Христа,

но (не тем ли более?) внезапный вызов ничем не задел его – как звонкий кашель бросившегося под стремя пса. Солнечный, порядком отдалившийся, поблекший уже мир долгого, широкого молчания теперь был виден только с высоты иной чести – выше шляхетского боязливого тщеславия. (Ад ран при том был так льдисто-свеж еще в памяти, что – стоило всерьез сосредоточиться на самом поединке – страшная являлась лень, престранная, брезгливая, словно ему предстояло не просто погибнуть или уничтожить недруга, а – медленно насилуя – кормить его своими, выматываемыми из-под пуповины внутренностями или насильно его съесть самому?..)

Стась в простых словах ответил через секундантов неизвестному противнику, что не поймет и не упомнит, когда и как во время столь короткого знакомства с вышеназванной панной мог он выказать ей столько неуважения – составляющего, как он понял, всю причину вызова. Впрочем, между ним и вышеназванною панною давно не поддерживается уже ровно никакого знакомства, да не вспомнит пан, что помянуто о том в упрек или в смех именно запоздалому явлению пана, – речь о том, что, если в силу отдаления иных времен память вины впрямь Стасю «изменила с паном» (аль просто по рассеяности солдафонской, по глухоте матерого артиллериста – не уловил какое непотребство сверзлось с языка, так покоробив ломкий вкус вельможной панны), – что ж, теперь Мнишек Станислав ей приносит свои сожаления, равно как

и всем бдительным ревнителям ее.

Выслушав воротившихся своих секундантов, изумленный селадон пофыркал в усы и отступился – чтобы свет узнал, как меньший Мнишек вырвал у него прощение, разжалобив-таки малоприятным видом каких-то, спешно обнаженных перед ним старых царапин, полным признанием за победителем предмета своих прежних вождедений и клятвенными уверениями в короткий срок исправиться.

Свет расхохотался, потом возмутился трусишке. Свет сказал, что, видно, раны Станислава Мнишка немногого стоят. Ибо, даже если ужас их и вполне верен (преувеличение коего тоже вполне вероятно, когда дело имеешь с подобной семейкой), при современном вооружении войск и хлюпика в последнем ряду хорошо достает.

Те, что отстояли бы со всем основанием Стасеву честь, первые головорезы, участники схватки под Новгородом-Северским, были далеко, еще в России, и на буковый, отсвечивающий волнисто столик в гостиной сенатора вдруг перестали слетаться бесшумные, ластящиеся к пальцам стайки вензельных «припроше»-карт. Отец-Мнишек, гетман, покинувший разваливающееся войско, давно был притчей во языцех. Светом терпим он был отчасти в силу королевского расположения, отчасти – родства, через дочерей, со Стадницкими и Вишневецкими. Последнее время многое прощалось ему для ран сына, само сопровождение которого из восточной медведчины как бы объясняло его отъезд с войны

лучше, чем все приказания канцлера-старца Замойского и театральные, двусмысленно верхней раде читанные письма короля. Теперь же, когда заговорили, что и ранения у Стася театральные, Мнишкам отказано было от многих домов. На открытых публичных балах, в ставках хоругвей (куда навывались Мнишки-мужчины по должности) и на театрах (спешней, чем где-либо, на театрах!) все и вся воротилось от них.

Старший – себя вне – многопенно хулил, выпариваясь ярю, сына. Сын же только посматривал спокойно и понятно вокруг себя и еще спокойней, пристальнее – внутрь.

Челобитный день

Отрепьев, взойдя на стол власти, думал – дальше уже легота, рассылай указыки – все делается, а оказалось, главная тижель-гора только наклика на плечи. Долго он заведомо не замечал этого – все только бегал, резвясь и хитря, вокруг неизбежного груза – самозабвенно играя подбитыми мехом кирасами, божьими страхами, тяжело возясь с любовью...

Все ближние давно отметили такое его настроение. Может, видели и дальние, молчали. (Отрепьев смутно одно знал – что им не может быть известно до точности ничего. А только ведь подробности, мелкие крючки и зубчики, держат и оправдания, и вины). Но ближние все чаще сами себе позволяли заговаривать с монархом обо всем. Бучинский постоянно предлагал каких-то баб. Окольныйчий Голицын всякий разговор окольно приводил к тому, что у него, по извету о кощунках монастырских, под пол взяты инокиньки – пальчики оближешь. Раз даже угрюмец Басманов, как-то говоря с царем о деле и увидя вдруг, что взор Димитрия вольно скользит за угол Елеонской башни, хлопнул по мягкой, бело распушившейся стрельнице варегой: «Да ну их, этих баб, что в самом деле...» – изрычал в сердцах. Тогда только, глянув и другим в лица, продравшейся вдруг и умилившейся совестью царь понял, с каким терпением ждали все это время подданные и друзья, когда же он освободится и начнет

наконец помогать каждому из них – против остальных.

Он и сам чувствовал, как-то надо бы спешиться – закрепитесь в Кремле, выдравшись из в бред изросшейся любви. Юра Богданов Отрепьев, с ним вкупе и Естественный Дмитрий, и Лжегригорий со товарищи, доскакали куда могли, но не подошел еще кто-то, намеренно непоименованный – со всеми «истинными», небывалыми Дмитриями и Григориями разве что в дальнем родстве. Он уже чуть чувствовался, ничего еще тут не умел, и в том, что мало-помалу он что-то поймет, чему-то своему обучится, под новым солнцем раздерет и по кремлевским гульбищам развесит на просушку нынешний туманище, и была теперь надежда.

Едва царь занялся своими царскими делами – страсть его из судорожной, неотвязной алчбы, жарких сомнений в конечном своем торжестве, разошлась стройной, мироуниверсальной надеждой.

Порой казалось ему – Ксения изошла уже совсем из сердца, оставив за собой широкую пустыню – незыбкую-непадкую... Но снова – на сухом, шершавом, тонко-рытом языке пустыни вдруг обозначался все тот же порхающий горестный вкус пяток любезной, а вот втягивался он с другой – нежно замедленной, учливой силой... Как будто под пустынным языком, на глубине, стало теперь два сердца. Одно, из глубины отдышавшееся и усилившееся, поумневшее – прежнее. И редко прядающее рядом с ним, лишь народившееся и прозрачное – иное... Бились сердца то точно в очередь, то оба –

врозь, то странно потакали стуками друг другу...

Раньше, когда Отрепьев был Отрепьевым, Холопий приказ, например, мнился ему матерящимися, то глупо веселыми, то погнутыми в три погибели людьми. При поминании Разбойной избы – ничуть непойманный, приветливый кудлатый человек с самодельным клинком только и ждал его при затменной развилке дорог на опушке дубравы... Теперь за Приказ холопов отсвечивали-отвечали царю лосные виски и уже непредставимые, невидимые в рыжеватых мхах скулы князя Разумовского. Разбойный олицетворяла маленькая харька с нежными звериными зеничками – Голицына. Казенный – подсасывающие ежемгновенно, легкие уста Головина...

Хорошо еще, что у Отрепьева были на памяти пока времена, когда сам жил боязливым путником, ужасающимся докладной кабалы нищим наймитом, ласковым искателем, просителем мздящим... Зряч был еще у него краешек того стерегущего, назленного глаза, спрашивающего и из последнего чулана с приказных глав, как никакой прирожденный дитем император не спросит.

Решив проникнуть от начала до конца Кремля все судопроизводство (и иные, буде встретятся, дела промеж его народа и казны), пока вытянул он наугад из пяти – пухово-дымных от пылей на харатях – ведомств по одной трубке челобитной и сказал произволение: ведаю ясно, как несложно

свитки сии, русской грамотой недужные, очми языка слепые и безоборонно, съезенно летящие от легкого щелчка перста, подъячому перед своим государем перевернуть, повить любым туманом, ально подменить. Всяко уж проще нежели живых, воочию глядящих челобитчиков. Понеже пять последних сих приму: так и прадедич мой великий слушивал свою Мосткву полично – на крылецех плитных.

На другой день пятеро истцов-мещан явлены были пред Грановитою. За ними к воротным решеткам лицевых башен пришло, наверное, еще полгорода и надавило на чугунные цветы. (Во всяком случае, с верхов кнехтам видны были под стенами напыленные до отказа уборы, слышны давленные матословия и упования только сильной половины города.) Выпуская разрешенных челобитчиков Кутафьевою калиткой, расходчик Слонский запустил-таки к царю на двор еще пятерых, затем караул уже самостоятельно кромсал продавливающийся в обе стороны, кричащий люд чуть оттягиваемой пудовой дверцей – равными порциями.

Царь под конец челобитного дня был выжат, как губчатый сыр, точно сам побывал у решеток под стенами, да уж отставлять почин поздно – город разинул рот, и Дмитрий днем великой справедливости, скрепя крестным знаменем сердце, положил каждую среду. (Впоследствии, втянувшись и набив на соломоновых делах десницу, к среде присовокупил он и субботний день.)

Силы царя, славно труждающегося по этим дням на

крыльце, с прибытком уже восполняла особенная – тихая и светорадная – услада властью, отведенная только теперь, между сказочных старых перил, под разлетевшимися по исподу шатра к площади святыми обитаемыми облаками. Сия особенная, светло-сладкая сердцу власть в том заключалась, что – по манию ее – вдруг легко, приветно открывались трудные лица искателей: рассупонивались крепкие – шорников; костяные у говядарей – багровели отрадно; текли закаменевшие – у рудознатцев; останавливались закруженные – у гончаров; у гуртовщиков – испуганно рассыпанные – вдруг сбились воедино; изящно вытягивались у хамовников; славно мягчели, отделяясь от седой золы заботы, кожаные – усмарей...

Царю и прежде приходилось (в царевичах еще) разрешать искателей, но тогда ярящимся искателем авосьным был он сам и благо человекам подавал, сам сразу взамен требуя немалых услуг – вплоть до беззаветной смерти или жизни сумасшедшего. Теперь же честно, хоть еще внакидку сердца, примеряя чаяния каждого, он неспешно, внимательно и упоенно лица благоустроивал так просто.

Но скоро учуял царь всю малость своих угождений любому простому бездонному страднику – бедствующему не в меру царских сил и дьячьего веленья. Чело благодетельствованного старца-погорельца озарилось нежно, думается, лишь на миг. Поди, получит он свой лес на новый дом, – поминал царь на другое утро старика, – заблудится, где-нибудь

сядет в нем и завоюет теперь о сынах, что перемерли, обгорев по пьяной лавке в доме старом. А так ютился-суетился бы, петлял бы отец их меж двор – знай, путал бы след, по какому тля-печаль за ним идет, да не расчел, забыл, годами многих, что от претугой змеи-печали смертный царь ничем не пособит... И тот – с правежа снятый кричник радовался, наверно, недолго: в новейшие времена чтобы встать ему на ноги – на такие чтоб уже не трепетали свистания правежных палок, железное варенье надо расширять литьем цветных металлов – бронзы, меди, серебра. А там, вроде, нужна вторая домница? А подати? А – по безвестности заказов не набрать? Опять заем?... Да все одно ведь – счастьем его живота одного вольного дыма с крицей мало! – Как мало для пытолюбия дьякона из патриаршего причта одних греческих книг, а дай и лютерские и латинские, мало распутных монашек захолустной лавры, надобна пренепорочная царская дочь...

Один такой дьякон-царь теперь проморгался – увидел себя в тесной родственной близости к всему самому простому и страдному, которой не знал до сих пор. Играя с легким сердцем в Польше, путешествуя войной по Северщине, несмотря на проволочки, временные безурядицы, тумачки, скользели, он все же здраво надеялся явиться в конце всех концов у какой-нибудь цели – самым умным и везучим, ухватчивым. И только на левом, проволгло-песчаном, низком берегу Оки ему прочтена была та невесомая жуткая грамота, а в Москве – на всю ее – только одно лицо, странно,

единственно маня, шатнулось от него в темной светелке... Тут только он насторожился и заподозрил, с непривычки почти осязав, что-то несоизмеримо жесточайшее вдали – уже пробующее его на вкус выскальзывающим сквозь примятый куст земного жалом безначальным, безразмерным...

Раньше только отвлеченно – так заученно, что неверующе, – знал, а сейчас без памяти, отчетливо почувствовал: смерть и тоска, весь вой человеческих детей, жалоба зверьнейшей, рыщущий, ищущи ласки, дворянин и ярый смерд, приговоривший дворянина к гибели за порчу слободской лучшей невесты, корысть купчихи, разорвавшей ведовской травой купца, и состояние раскрепощенного вдруг над обрывом жизни, ненадобного крепостного, принявшего – на шею белым камнем – долгожданную свободу, Стась Мнишек, рыващий от картечи в ребрах, и Годуновы, не вздохнувшие под княжескими кушаками и подушками... все – одна невзгода, одна рана. Одно и стило.

Должен, значит, быть и есть где-то один и тот же, кто повсюдно виноват, кто этот слепой единый сгусток, боль в печали обваляв, скатал и по незримой жилочке, солону нерву тянет из шара, почти не обжигаясь от жадности, дымную кровь...

К сему горю веселья земли царь все свободное время за ужином прикладывал возможных виновников и ночью подолгу, хоть и не видя, что-то рассматривал с разных сторон, но – честно отчаявшись чутьем и уже в хладное неверогаие

зашедшим рассудком – сошел-таки в келью к Владимирскому.

И блаженный схизмат сразу сказал, кто виноват во всем: Всесброшенный с небес – передовым дозорным и землепроходцем напередки Адамова полка – дикий одинокий темник Сатана. Он этот бордовый клуб скатал и по трубочкам цедит наземные слабые силы, переводя божьи милости. Давит до сочения да попивает отсюда страдания сырые и вдохновения ярые. А кабы не так – куда б все девалось? Раз здесь дно, люди сами упрочались бы тем отчуждающимся от них тяжелым соком и потопно, соком же, прочь друг от друга, как от Бога, расточались во все концы... Тогда и деревья давно булатным листом залязгали бы, агнцы и лебеди бы оскалились, из всякой бурундучьей головы по рогу вышло... Но запруды сияют, и птицы шумят, и кресты обителей уходят в Солнце, – стало быть, все самое полезное, питательное из-под междоусобных здешних мук идет по одному пробитому пути – под землю.

Царь ходил на всякий случай и на восточное крыльце – к Вселенскому. Отправляясь к нему, крепко опасался – повторит собрата, и не будет опять даже веры, не то что некоторой ясности. (А Отрепьев-царь еще в подрысниках догадывался: там, где сорок умников и многочеев собрались и об одном договорились, тайне правды больше места нет.)

Но еще царь не досказал Вселенскому о беде погорельцев и беглых дворян (ясно, не поминая заключения Владимирского), как ведун его порадовал. По его мнению, Бог ска-

тал шар. Всемогущий и Всемиловитивейший. И пустил его на Землю: страхом при грехах.

Отрепьев только головой крутнул и так по-самодержски рассудил: Владимирский, держа ответ, был скорбно пьян, но Вселенский от заутрени тверез и постен – как хотите, сердцу ближе припасть к зыбким убеждениям Владимирского. Похмельно-опечаленный всегда качнется ближе к истине: во-первых, знаем из Лествичника, что именно знания и набавляют горя (с которого и пьет познающий), и потом, часто случается, что, выпивши, он только пуще плачет, то есть и тут познает.

Склоняясь душевно к Владимирскому, Отрепьев признавал неправоту безвыходного смертного страдания всего простого, искреннего, маленького. Кажется, тут царь испытывал какое-то властительское облегчение – вновь не трепетал зря поверх колпаков, но и не протекал, виясь, среди кутасов и кафтанов, а царил со всеми.

После бесед с ясновидцами, он двое суток покоился и еще четверо – заново перебирал и весил наприклад в уме известные напасти – и свои, сразу перебрасывающиеся на ближних и окольных, и сухо корчившиеся беды других – наметенные по бурным средам на крыльцо. И только на седьмые сумерки, при незажженных угнанными служками свечах гадая – чья благохитрая воля или власть должна в конце концов вмешаться, делать что-то... вспомнил вдруг, что есть на Москве, к примеру, – царь.

И единодержец со товарищи – владыкою Игнатием, окольным Василием Голицыным да расходчиком Бучинским – разрешил четверть свирепого доброго бастра, прямо ходил по кривым переходам и послал разговлявшимся отцам-иезуитам бочонок гвоздцового меда – прямо в окно... И к утру опять похолодел. Что-то в подклете груди непривычно очнулось, и дрогнули плечи с руками, и царь встал в преспокойной ночи, и замахнулся в сердечной тьме на князя мира сего, всем задавшего знания зла и добра, – ясным, под скипетр подделанным карандашом.

Отрепьеву-царю вспоминалось его первое царское, жаркое лето.

Осмотр своих владений он тогда начал прямо с подворий Кремля. Открывая неведомые и непредставимые прежде ходы, переходы, апсиды, лестнички, крыльца и вишенные ниши закоулков, ведя взор гранями башенных всефигурных кирпичиков, все чаще взор он ловил на странной слабости, потворстве дивному лентяйству: вот хватает глаз не толк соотносительности мест, и не назначение проводываемой в этот миг постройке, а скашивается, безвольно и упрямо, на другое...

Сквозь великоцарский кирпич, при таком смотрении, всюду ровно светил мир иной. На поверхности этого – мягко, легко возлежали следы невидимой издали жизни: кринка молока, стоящая в апсиде; длинная кисть маляра, отмокающая

в лубяном ведре... Наискось чья-то на протянутой веревке – от подошвы стрельницы к стене – застиранная конопляная рубаха. Ничья, блаженно намывающаяся в бойнице на припеке – кошка. Собор голубей, бесшумно в приказном прогале убирающий печеный сор. Ласточье гнездо под изумрудным циферблатом; нетронутая трапеза испарившихся каменорезов – горшки и чарки, дощечками с твореной белой глиной прикрытые – от ярыжек и мух. Светлая отавка, выдвинувшаяся свободно между вознесенными высочайше камнями. Верно бредущие куда-то – друг другу поперек – жук и муравей...

Тогда показалась Отрепьеву-царю одна мысль колко, забавно правдивой, но и счастливой головокружительно – от белого чувства к сплошному, щемящему братски старинный кирпич, счастью. Мысль – что если и есть на подворье сем какой-то хозяин (как звать в новом веке полюбили – «истинный и прирожденный»), то он – не великий князь и цесарь, и не боярин в страшных шубах, и даже не стрелецкий караул, а именно тот беззаветный народ, истонченный здесь со времени добрых лесных лар и ранних градоделцев, но оставшийся неистребимо, народ одуванчиков, бабочек, жуков, живописцев, коновалов, ежей, таволожек, косарей... Этот кремлев тонкий мир ничуть не утраивали ни ковы крамол, ни ураганные палатные качели низложений и восшествий, ни тоска опалы. И через, и сквозь все тяжкие, шепотные, чешуйто-меховые хребты здешней жизни небрежно, основательно

глядел, чуть даже свысока, дальний ее умный родственник – слегка опасливый, но без дрожания век (а что? – будь здесь, как прежде, сплошь нежный лес, и тогда надо было бы остерегаться и удавов, и царей зверья, а все одно насмешливый цветок или работник всегда чует над глупым хищником легкое свое превозвышение).

Вязавшиеся за Отрепьевым Бучинский и Голицын бесчувственно ступали на мать-мачеху и рыжих муравьев, заправскими царями с тропинок распинывали деки и кринки, – они бы и покруче дельвали, если бы не рядом царь, который последнее время зело их удивлял.

Обходя и самый Кремль по периметру (князю Голицину растолковано было, что это слово означает – по стене), наткнулись раз, за пирамидкой часовой бильницы, притулившейся к большим зубцам на перебеге к Колымажной башне, на низенький, в четыре венца, сажень так и сажень так, но – домик, с трубой, крышей из длинной щепы и даже бычьим пузырем на кубике оконца.

Оказывается, в самую Смуту (когда после срама под Кромами навстречу передовым частям войска царевича мятеж полыхнул по Москве, и от него, только и глядели, не занялось бы в древесной столице полымя настоящего пожара) служилый один колокольник потихоньку, по бревнышку поднял свою хижинку на неспалимую стену – благо, тогда следящего начальства было мало, а черный люд, напротив, всюду обильно следил по Кремлю. Даже караульные стрель-

цы побаивались о ту пору отпугивать воров, и малые колокола легко могли почистить.

Так как старый колокольник и прежде с огромным трудом возносил ноги на стену, теперь он решил вообще не слезать вниз и совершенно осел на стене. Сменщик его где-то давно сгинул, но внук колокольника, торгующий с лотка на Пожаре, раз в день подымал дедушке моченых яблок, молока и теплых перепчей. Богомольцу-отшельнику и то уж было за баловство.

Бучинский, выхватив старика из дверки его лачуги за ворот, уже сказал кому-то спхнуть хибару в ров. Но государь неожиданно предложил прыгнуть наперво в ров самому Яну – глянуть: доброе ли там место для житья? Ян, впрочем, приценившись с высоты, успел увидеть на Москве еще свободное местечко для лачужки колокольника – получше; он, Ян, сам туда дом аккуратно на тяжеловозе отвезет, если прекрасному ветерану трезвона тяжело. Все дальше заглядывая Дмитрию в глаза, кто-то добавил – раз старичку тяжело завлекаться на стенку, так пора уж, гораздого корма ему положив и сняв иго колоколец, пустить на покой?.. А колокольником – хоть внука?..

Но Дмитрий, подумавши, сказал – внук, конечно, может бить в колокола, да ведь старик не может тягать лот с перепчами в обжорном ряду и доставлять корзины угощения на забороло внуку. Так что и нечего мудрить, раз стены растут там, где сидят люди – царевы да божьи. Ежели укладывается

само от веку бытъе житья – как ему ловчей и сродней.

Старик, впрочем, из Янова кошта был кое-чем награжден, и домик подле бильницы оставлен – в назидание русскому кремлевскому народу, для примера ревности и славы служения в такие времена.

Танцы, баня и лекция

Помалу все меняется, все – к лету: даже перед царевнами вдруг пропадают рогатки – иди куда знаешь, даже поезжай.

Челядь, первой поняв обновившийся воздух надсенья, вдруг, без справки с властью, начала отпускать подопечную – куда только той желательно. Властитель и сам не сказал бы – каким словом, или, может – одним жестом? – снял с терема строгий затвор. И что вообще случилось? – остыл ли, до безучастия к потере? Или оценил, уважил, потеплев, свободу ее? Уразумел вдруг дурь иных оград?

Верно, это все вместе – насколько столь разноединым вещам побыть вместе возможно. Дух его медленно выдвигался из-за души – в первых отсветах солнца; теплел. Утомленная душа позволяла – но, дремля, не отпускала далеко – тяжелея, остывая.

Разумеется, сразу бы что надо узнал – решишь Ксения на дальний отъезд. Отвращение его к возможности потери сказалось-таки в том, что не был пленнице подарен миг уведомления об отчетливой ее свободе, а значит, четко не подарено и... Но тут было не столько лукавства, сколько утробной какой-то учтивости. Вот не знал, как известить об этом, чтобы не вышло невольного нажатия, и грубо – или-или? – не кольнул старый, ломаным своим ребром, вопрос. Да, можно – как бы браво и легко, неиздалека – знак: «...а что ж на на-

бережную салюты Гуляй-города не съездишь поглядеть?» – «А – тешно?» (Любящая ответит. Такой-то и знак ни к чему. А тут как узнать, если... А лучше никак – пусть сама.)

Сама почувствовала, в молчании тоже – ответила, себе и ему: куда поеду? От прирученного худо-бедно зла – лучшего искать, дичайшего? Здесь и добрые все же есть люди, есть они у меня – и живые, и мертвые, деревца и теремки их, и могилки – всем уж раздышалась, здешним сим всем и держусь. От могилочек, кувшинок – к кому?

Пусть все себе меняется, все к лету. Но царевны жизнь живут в Москве. Остальная Русь для Ксении кончалась где-то со стенами ближайших святейших обителей. Рощи из сказок пугали ее, как чужестранку, – с вещуньями они, совами, подобными львам, с барсуками и змеями. Как-то зналось: город на Руси один – Москва, он и Псков, и Тула, и Владимир – только там все послабей, как отражение в слюде, вид – или ребячливый или увядший, а так то же: у речной излучины град взыскуемый: возгораемый посад, кремль, храмы внутри. Цари там – воеводы, еще проще, чище здешних, царевны – конопатые их дочери. Преемники не самозванцы – шепотники. За шатунов-бояр – по жердочкам тоже «не какие-нибудь»... Скрыться бы и от этих, и от тех (да и от русского гневливого народа не мешало бы), поселиться бы в соломенной прохладной деревушке, старостиной женкой, да побаивается – не земных трудов – тяжких наземных быков и невозможных коров, виданных на подмосковных пастбищах: вдали.

Все лето дьяк Шерефединов оставался дрожать на глазах царя. Хоть Отрепьеву саднило смотреть чуть не каждый божий день на человека, подложившего к началу его царствования жестокий грех, только чудом каким-то не сделавший его, Отрепьева-царя, кровавым чудищем как в ненаглядных Ксюшиных глазах, так и в оке всего московитого народа, царь медлил. Опалиться и прочь от очей угнать дьяка – сидеть ему, носа не высуня, дома, – было бы слишком смешной карою. Услать на воеводство в новый, дикий, городок – тоже мало, да и уверился в порочности такой управы, хватая кремли Северщины: вот где разостлалась легота пред бунтом – даром, что воеводами в тех кремликах сидели все опальные дворяне.

Чего проще, казалось бы, сослать одного дьяка, без чести, абы куда под караулом, посадить на каменную цепь Урала или под северный любой утес-засов?.. Не тут-то было: тогда надо Шерефединова сначала осудить. Но за что?

По обнародованному уведомлению, Феодор и Мария Годуновы отравили себя ядом, дьяк Шерефединов совершенно ни при чем. Для острога или ссылки требовалось отыскать еще на нем вину – может быть, менее броскую, но все же весомую. Потому и следовало держать дьяка теперь при себе, использовать в важных делах – отнюдь не гнать долой с глаз в райский просто для него, прохладный и отдохновенный край опалы, но неутомимо навевать, хоть из чего сочи-

няя, и начислять ему вины.

Было то делом непростым, так как дьяк ходил теперь тише дурной воды во рву, ниже травы в зубах и тупиках кремлевских. Видно, чуял над собой томящуюся бдительно грозу, сам изо всех сил следил – где-бы еще не нагробить: натуживался ни в чем и не переусердствовать, и не отстать – столь берегся привлечь, зацепить высочайшую молнию...

Раз только, на «ближней думе», когда не было царя, а крепкие иезуиты все равно заговорили, как хорошо было бы принять всем католичество, перемолчавший дворянин не выдержал. «Зачем католичество?! Уш лучше мусульманство!» – непривычно забывая стережение, привстал батыр – только звереющий от меду на пирах и раздувающийся, изнывающий от однолюбия жены на безгаремье, вне походов малого джихада...

Заметив чистый деятельный взор Яна Бучинского, Шерифединов, тотчас спохватясь, умолк. Но царев наперсник не приметывал сейчас к делу негодника очередное пригрешение: дьяк, не чая, Янеку подарил мысль – как отвадить от одной влиятельной колдуньи сердце и головушку царя, вернув оные к уже неотложным, пугающим всех, кроме него, страсть крутящего, делам. Заодно же – можно будет содрать не один тихий подарок (и уже не общею идеей, а пусть маленькой, но яркой осязаемостью) с Шерифединова, горюющего из-за той же неладной любви царя. По Янову глядеть, и не стервец он никакой, сенатор – Андрей, кажется? – Ше-фе-рре-

... ну, ну, ну: Ше-ре-ффе... – джинов (уфф!), а добрый, исполнительный, сметливый, мягкий, чуткий – резко русский, азиатский человек. Принимать мусульманство его целиком – конечно, слишком, но так – применять местами бы, кое-по-какой нуждишке царства...

Хотя Яну – что католичие, что православизм, что лево... – он, Ян, не против. Он в кругах своих трудов забыл уже, что арианин, и смотрел на все религии с какой-то пятой притомленной стороны.

Тайком, вдвоем только – Бучинский да Шерефединов – наведались в приказ к Басманову. Сказали ему: ты уж не лови нас – сами тебе открываем, в чем тут дело, – значит, понимай, измены в нем особой нет, так – молодецкий разврат, блуд удалой! А лучше дай нам ратоборцев, кого пошустрей из твоего ведомства в помощь – на лов дев попригляднее. Но понимающих давай – какую ехимсталериком соблазнить, какую так сгрести...

Басманов, после обеда балующийся с кружкой меда (то было Яном зане учтено), – неприязненным тугим насилием над плавной теплотой в себе – кратко размыслил и сказал: валяйте. Нужной измены тут и, правда, мало – отец батюшки, Иван Гроза, все эти деянья любил, еще мой батька гаремы таскал ему в опочивальню, так что шаленье сие примет теперь вид наследованья, и коли и выйдет что наружу, никто ухом очень-то не поведет. Это только Федя Иоаннович да Годунов по долгу зятя крокодилова жили семейственно, как

всем Бог в заповедях да в былинах народ велит.

– Но, – от обеда час спустя, поймав в переходе, собою втиснув в апсиду расходчика, договорил Петр Федорович, – вам придаю еще ганзейца-лекаря, все молодки сквозь него сперва пройдут! Вот буду спокоен, что они в подолах на престол не занесут крамолы...

Царский ужин, как правило, происходил в кругу приближенных соратников. Сначала перед царем затевали свою свистопляску шуты – царь посмеивался, но не очень широко: шутам с одного недавнего времени запрещено было глумиться над павшей в мае отважно династией; над порубежными запальчивыми шепелявцами, Литвой да Польшей, с воцарением Дмитрия вроде бы тоже насмешничать стало нельзя; оставались разве только крымские татары... – и шуты больше кувыркались, возились дуром – без далеких аллегорий.

Ян благо знал довольно по латыни, откупорил украдкой у басмановского медика восхищающие венеровы капли и, несколько накапав предварительно – для совести и внятности исторических последствий – на свой язык, развел две ложки в снежно-васильковом государевом кумгане.

Ян полил из кумгана в кубок Дмитрия и видел, как скулы у царя темнеют, – проваливаясь, уменьшается и злеет глаз, и государь сам зримо зреет – сникая за столом. Ян заплескал в ладони – шуты на все направления раскатились по коврам, на их место впрыгнули сурьмленные до изумления, пудренные до последней жути шутовства, девахи в кисейных саянах

– вовсю заплясали какую-то стыдную вещь.

– Ну, великий, каковы паненки? – спросил Ян.

Царь ввел на них цену – смачным непорочным словом. Он смотрел тяжело, но удивленно, на сизый кумган – якобы с малвазией.

– Пабенки как бапенки... – отер тылом горсти со свитком квашеной капусты губы. – Белил на дурехах, что ль, я не видал никогда?

– Да-ха-ха! Ряжки – што у кобылиц в упряжке! – виршами подпел близчавкающий князь Мосальский.

Бучинский живо подлил государю (заодно и служилому старику-князю) из кумгана в рюмищи, и – вдруг сам в захлебывающемся, отвесно вверх взлетающем восторге – писком воззвал: – Великий кесарь, свистни!

Отрепьев одним глотом вдохнул – светом болотным – ви-но... Весь зажмурясь, заложил головоломным узлом четыре перста в рот и длительно, с отзывающим из-за пределов слуша звоном, засвистал.

Плясуньи замерли как вкопанные, – прядая пугливо се-режками с бусинами и ушками венчиков, но только на миг. Домрачеи враз струны смешали с затуманившимися кистями, цимбалисты безрассудно обрушились на свои хрупкие скрыни полыхающими молоточками, цевницы и бубны слились, ссыпались в один клейкий растреск, – девки в один вздох скинули саяны и рубашки и беспомощно-, бешено-белой, сплоченной, приплясывающей студенисто стеной пря-

миком пошли на царский стол.

Царь запьянцовским широким движением от уст так отнял кумган – навзничь опрокинулся. С охающим хохотом закатившись в упавшую маревом скатерть, с другой стороны разогнав желтые морхи, поймал в десницу чью-то ахнувшую щиколотку и потащил, хохоча, на себя – под зашалашенный натемно стол.

– ...А в турецких якших городех – у каждая – гарем, кажд млад и мудр до самой старости, бодр до смерти, – лишь пошевеливал русским языком сырой Шерефединов, обомлевающий в сухом пару. – ...Засватает под ся яще, посяяще... а любим-жену выищет-та иза-всех-танаконец. На любимый – свой-та. А здешен муж – тожде не глядя, ровно под чадрой берет-посватывает, но одну. И любострассь у него резовой убывает себя, и пламя жизни с голоду кончает...

– Правильно нерусский говорит, – пошел голос, откуда из тумана свешивались ноги в пухе масти дьяка Грамотина. – Им и паранжи не помеха... Я бы мешки эти с их кошек вовсе не сымал, а прямо так... – голос в пару захлебнулся, нога ногу потеряла мечтательно.

– Вообще да, – снизу отозвался матовый первый дьяк польского приказа. – Самую курву, коли рюшка занавешена, восхощешь...

– Да не о том я... – обиженно приподнялись и канули куда-то ноги.

– ...А-а, ты по сути, – все же продолжал переговоры дьяк-посолец Власьев. – Тогда, да... Что любая баба есть? Покоище змеиное и жупел адский...

Весь плавно пошевелясь, Шерефединов глянул на него через покалывающую блаженно зыбь: позвоночной ложбинкой расплывчато-сутулого дьяка бежала прозрачная струйка, сам позвоночник проступал, как изогнувшийся мучимо, с лепящимися по нем темными листиками, стебелек – чудом удерживающий неподъемный плод.

– По шариату считать, – сказал, что просто знал, Шерефединов, – у бабов нету души.

– И быть не может, – подтвердил дьяк Власьев, смутно обложенный девыми парными персями и ленно волнуемыми чреслами.

Невидимый царь, во мгле на верховном полке, в просторе одиночества все слышал и даже кивнул, осязав и телом, и умом уместность и доброжелательность помыслов Шерефединова, но отдыхающей душою к ним оставался ровен. Хотя первый, восточный, полукруг беседы в банном понизовье – кажется, к самому, бережно парящему под жгущимся сводом сердцу царя – ненароком обратил мгновенное одно, что водная искра в неуемной глубине, видение. Сердцу примерещился огромный южный город, с частыми палатами и минаретами, с пребольшими окнами, настезь открытыми в открытые подворья – любезные тому же сердцу преровной тропю и зелению, напрочь лишенные непроломимых заборов.

Всюду виделся в обилии полуголый, полуодетый люд – но ничуть не зябкий, сам теплый и полупрозрачный, какой-то – как незасватанный еще. У иных – наперемет – только халатки от солнечного ливня, горят, текут с плеча...

С испода хлынул воздух, холод, свет – прозрачные нагие южане смешались с матовыми ближними дворянами и дьяками. Хлопнув дверь, в парильню вошел Ян Бучинский, прямо в распущенном зипуне.

– Андреич, ты это что золотолитцам жалованье задержал? – прокричал Ян в пар. – А ну вылазь! Потом: гости-то и песка заодно с поташом у Сибирского приказу перебили! Вот так у вас монополия!..

Ян, отшатнувшись с непривычки, приоткрыл чуток дверь, приник к клубящейся щели губами, спешно глотнул. Кто-то, охая, начал спускаться с третьего полка – на выход.

– Государь! – торопясь, расходчик прокричал и вверх, – подь-глянь – какую дролю я тебе привез! Веришь, сама на меня набежала на отписанном дворенке Семки Годунова – к тебе запросилась в чертог!.. Тут она, во второй неделаной парильне ждет... – довершил Ян известие, уже выбрасываясь за порог. Ухнула четырехбревная дверь и – «о, пал псяпехний...» – на польском буркнула еще – глухой отдачей.

– Так веди ее сюда! – не успели докричаться упревшие дьяки – хмельные, любопытные от жара, стали подыматься, ломанулись было следом за царем, но Дмитрий, выходя, пхнул нижнего соратника, и все дьяки, как свежеслеплен-

ные, влажно блещущие нелещенные игрушки, один за другим пошлепались на прежние места.

Позже все-таки все слезли вниз – на широкую мыльню, там льготнее наконец задышалось, срушней и не так страшно было хлестаться вениками. Квохча, мощно рыча с нежным отвизгом – хлестались все: думные дьяки, безмятежные русалки, новые бояре, – кроме дьяка Власьева, которому уже мешали быстро двигаться совокупно зачерстневшие спина и задница. Дьяк мылся кое-как, едва туго клонясь туда-сюда, в сторонке от всеобщего ристалища, потом позвал Шерефединова слегка ободрить себе кипой дуба спину. Но дьяк Арслан, огрев его – улегшегося с превеликим бережением на лавку – пару раз, вдруг выбросил веник, прошелся короткими, толстыми, как кулаки, пальцами по власьевским хрящам, избил товарища самими кулаками и начал крутить ему руки. С перепугу поверженный дьяк запищал – тогда Арслан пришел в восторг, запрыгнул весь ему на спину и побежал по ней неведомо куда, съезжая пятками по мокрым ребрам.

– Так прадед еще деда и отца целил, – пояснил он на ходу затеснившимся к их поющей лавке банному народу.

– Ах, изверг, сыроядец, душегуб! – частил вопленно Власьев. – Татарская ты рожа! Батый бессмысленный! Убивец! Тамерлан проклятый! Ослобони, дай вздохнуть!..

Шерефединов только быстро улыбался да временами приговаривал:

– Мальчи, уродская спина!

Русалки, визжа, хохотали – плеща из чумичек холодный мед на общие жаркие уды и члены...

Прекрасные – как будто страшно далеко, давно знакомые – ноги знакомо, чуть помедлив, разошлись. Тогда Отрепьев обернул к себе, в волоковом лукавом полусвете, и голову... И было между голов легкое колебание, в миг усмирения которого он уже глядел на розовую Фросю – свою неизменную милку в бытность славным конюшим Черкасского.

Некоторое время они, подружие против подружки, без слова сидели – заново нагие и разочарованные. И видно, и так понятно было: думала охмурить мальчонку-государя Дмитрия или, на лучший еще конец, расстригу-Гришку преужасного, а видела сейчас перед собой даже не Гришку, а пропащего полузабытого Юшку, о монашестве и наречении Григорием которого и не слыхала...

За все годы, что они не виделись, Фрося тоже прошла долгий и небезуспешный путь. После разгрома Романовых, когда Юшка выпрыгнул навеки из оконца ее повалуши, Фрося отошла к боярину Михайле Салтыкову, что было несомненным повышением после зверской крепости опального нерусского князька и оглядчивых ласк миловидного, да мимолетного, его холопа. От Салтыкова, всеми способами рвущегося вверх по местнической лесенке, широкобедрая и страстная краса поступила – только темнее рдеющим гостинцем – тающим, яко во рту, и в руках, – к Семену Годунову, голове

аптечных царских немчинов и многого – втайне – еще чего. С шагом в каждую новую постель, Ефросинья Сосфевна заметно подвигалась к трону, слепительней и легче одевалась, легче кушала и меньше почивала по ночам, а по дням дольше спала. И вот, как по цыганьему велению, уже и сам царь шел к ней в ноги... И царь оказался конюшим.

Пусть самозваного, разбойного, но неизвестного, царька была великая надежда присушить – взять не мытьем, так катаньем башищу манящую, страшную, порфиноносную: в ней затаилось упоенно оправдание и окончание всему...

С былым же другом и дворовым блудодеем Юрьем свет Богдановичем, Фрося знала, хитрейшие приемы ее ворожбы никогда не проходили – сам он известный ворожей и охмуритель, всех сердечных дел мастак...

Бескорыстно, и уже в каком-то стройном свете непривычного нерассуждения – только маленькими, широко разъятыми, зрачками – сейчас она глядела на него, как на забытую, сплошь прочерневшую, светшавшую вещь, когда-то выброшенную девчоночьей рукой на пустырь – из окна под ноги нищему. Но нищий теперь волшебным образом разбогател, нарочно пришел и говорит умнице, что та корчажка была золотая...

Фросина надежда была теперь лишь в том, что по старой дружбе или милой памяти царь что-нибудь определит для нее – если только не сибирский ледовитый скит: вдруг старая лакомая дружба ему памятна, да нелюбезна и небезопасна? И думать нечего, любая весточка от конюховых лет – сего-

дня неблагая, на дух подделанного Дмитрия чуть терпится, поди...

Отрепьев чуть покачивался с легкой головой. Сегодня он совсем очнулся от бушующего бесшумно, выживающего куда-то потайным ходом мозг и все поощряющего свой неисповедимый галоп, строгострастного сердца. Теперь только прохладный пот да икота составляли какую-то жизнь для него. Он ни о чем не мечтал, не горевал... Не знал только – стоили бешеные эти и волшебные четыре года, все истовые выдумки, ясные напряженные ночи, страхи и враки, слепые дневные бои, срамные падения, предательства и великодушные разлеты – вот такой окончательной встречи с именно той гулящей холопкой, расставанием с которой – вечность, кажется, назад – открыл свой царский путь? И, оказывается, которая, туда же плыла эти лета, только не грубым напряжением всех сил, напротив – нежно расслабляясь... Не стяжая чьих-то чуждых прав – по своему праву, огненной девоньки.

Еще мгновение назад он сказал бы, что, пройдя по всем бесым кругам, он и получил в награду все. А это все вдруг стало под ним слабо задымленным, простым чуть теплым воздухом (проломится сейчас мокрый выгнивший полоч!..) Он получил все, кроме какой-то последней или, может, первой, да только и надобной, даже без ничего, сцепки для всего этого – непопираемой, неопалимой. Сущей, наверное, – всеоперяющей?.. Ну вот может, кроме улыбки любви?.. Так притомившийся за неделю шибай получает в отдельную, мы-

шью каморку бляжью полуую – так уже притомленную – плоть (плоть уже без особой души); он даже легко оправдывается потом перед божничкой тем, что торговая баня – не-весть-какой великий разврат: где души почти нет, развращать больше нечего... Вот пьяненькая повитуха добывает бездыханного ребенка, темная кожица его еще свято помнит и как бы – преровно на невыносимом пределе – чтит живую душу, славно разносившую ее, но души нет уже.

И какими силами, цветами, привечают бескручинную душу любви? Может, истинно, довольно в чужеродной стороне скупнуться на неправославное Крещение доверчиво в дымной подледной струе?..

С улицы пошел смех, снеговой поскрип, – царь протер моральным клоком мизерное алое оконце, прильнул к нему: из главных ворот мыльни выкатились одетые кое-как дьяки с девками, пошли переметенною тропой к теремку. Отрепьев чуть задержал взор на своре соратников – что-то почудилось вдруг небывало, неправильно в этом их дольном движении.

Он напрягался, вспоминал, сам не зная во что всматривался и... вдруг понял: это Власьев шел по розово-синей тропе не своей ходью, как-то воистину странно – голова дьяка покручивалась теперь на чьем-то чужом, прямом, точно ивовый колышек, стане, и Власьев шел как молодой, легко и бодро, – не отрывая влюбленных слезящихся глаз от шагающего впереди Шерефединова. Тот широко взрывал рыжими – лисьим мехом наружу – ичигами снег и до жидкого пис-

ка жал под своей мышцей, под полой шатающегося охабня, простоволосую банницу.

Дворцовый врач, мадьяр Христофор Фидлер, освидетельствовал ослабевшего царя. Открыл общее Христофор истощение – от обилия вин, скудости и причудливости пищи да и всех иных размноженных излишеств.

– ... Чувства и их органы утомлены, – тихонько произнес он, закатывая грановитою крышкой сулейку с бесцветным бальзамом. – Вы молоды... Однако же, на моей памяти, Великий Иоганн, наш батюшка (о! – конечно, особенно ваш!) за какие-нибудь пять-шесть лет от подобного способа жития обратился в старика из молодого... А я, ваш смиренный слуга, ведший весьма воздержанный живот, по сию пору здоров и крепок, – тощий моложавый венгерец присел и с удовольствием поднял одной рукой за обрамленную александритами ножку здешний стул, опустил без стука и в другой горсти помял сухую горсть. – Судите сами, ваше царское величество: из семени мужского возрастет на долгую жизнь строгий человек. Бог в него токмо душу вдыхает, плотский земной замес заделывается природою мужчин... Ну и подумайте, юный мой батюшка, от какой служилой силы за единый раз и с единою лишь дамою вы избавляетесь?

– Мама-то тоже утруждается, – в сомнении дополнил доклад Фидлера Отрепьев.

– Женщина потрудится потом, коли зачнет, – Христофор

твердо замкнул свой ящичек с ланцетами. – Однако нагрузка ее распределена равновеснее – по всем девяти месяцам, оттого дамы живут дольше. Мужчина-любодей все, что может, отдает по счету: раз, пятнадцать! – и не живет в разуме долго... Когда при мне кто-то похвалится своим мужским достоинством, меня ласкает смех...

Фидлер как-то разумно покрякал нутром, покрутил в синеватой шее головой – под увлечением насмешки. Отрепьев нечаянно сам хрюкнул, но очнулся, омрачил чело...

– Я много странствовал по свету, наблюдал церемониал соития и обыкновения семейственности разных стран, – опять разговорился Христофор. – Славно, батюшка, что русские дома, подобно сералям Востока, разделены на женскую и на мужскую половины, что у здешних христиан столько постов. Вот почему дети ваши рождаются богатырями... Где же супруги преют вкупе еженощно, сила мужей не поспева-ет благородно вызреть, органы вянут, чувства выветривают-ся. Вот уже плоть противна плоти, яко хладный жеваный ку-сок – обратно вываленный из прекрасной пастищи порока. – Фидлер ненадолго стал тоже суров, даже серьезен. – Вот и их ребята слабы...

Отрепьеву еще больше захотелось верить заповедям лека-ря, оттого что тот смешал пороки и семью, что где-то одоб-рял его народ.

– Я понимаю, ваше государево величество немало устает после дневных адовых дел, – заключил Фидлер, – а затем все

остающиеся силы отдает поиску достаточного отдохновения! Да понудит еще самую малость мой батюшка великоборзый свой мозг и благоразумно разрешит задачу передышки.

От удивления Отрепьев обещал венгерцу, что отныне тоже в добром разумении пребудет и как-нибудь, на пробу, правильно устроит свой досуг.

Военная потеха. Смотрины

В честь годовщины преславной виктории под Новгородом-Северским царь с кремлевскими гвардейцами брал приступом (бояре защищали) снежный городок.

– Эка, значит, не забыл – напоминает, – вчесывались приневоленные важные защитники в затылки.

Дмитрий, точно, помнил хорошо ералаш и срам своих баталий и дабы хоть тут никого не обижать, а замирить прежних врагов глуше, поставил воеводить польско-немецкой штурмующей ротой Мстиславского, а Дворжецкого с Басмановым начальствовать на снеговой стене.

В присловье минувших побед над татарвой и грядущих – над туречиной, воткнули в ледяные своды стрельниц ржавые серпы.

На сторону неверных бояр воевать – из русских приближенных Дмитрия – кроме Басманова ушел, правда, только казак Корела. (Басманов шел своей охотой, себе на уме: играющих бояр нельзя было оставить без присмотра. Корела же не привык цепко следить за каждым шагом своей выгоды, куда попросили – туда встал.)

Сказано было – oprичь катанного снега и деревянных слег – не иметь оружия. Но Басманов знал врожденную запасливость и предусмотрительную тугоухость своих подопечных. Стряпчий Петра Федоровича, Гришка Безруков, перебегая

по снеговой галерее, ненароком ссыпал в ров Василия Воейкова.

– От холоп! Е... нахалюга! – забарахтался, выплевывая белую мокреть, боярин-чашник.

– Раб сволочной! – загремел с ближайшей башенки и Гришкин господин. – Покараю ужо!

Гришка, всяко каясь, спрыгнул в ровик, одним рывком Воейкова выхватил из сугроба – тот по-дурацки опять завалился, крякнуло гузно о снег. Безруков снова поднял, обшлепал всего рукавицами, тычком посадил на ледяную приступку – сорвал тимовый сапог, тряханул, выбивая из обуви плющенный снег: и лучевым тонким остригом вверх, рукоятку в снег, вылетел фряжский кинжальчик...

– Видал? Теперь отворотись, – развернул плечом Петр Федорович Дворжецкого в другую сторону на башне.

– Сейчас всех обыскать, изъять оружие! – крутнулся было назад тот.

– Вот этого нельзя никак, – навалился бесшумно Басманов, – и ни за что.

– Ну так вооружим и поляков?!

– Пан рехнулся?! И что выйдет тогда?!..

Конные стрельцы Корелы прикрывали крепость. Скопин с конными же дворцовыми латниками, не боящимися ни огня ледышек, ни дубья раскрашенных мечей, налетал. Странно, не с руки донскому атаману было «воевать» с дворцовым распарченным дитятком: не понять, с какого боку мож-

но сечь, а с какого – жирок выплещешь, сусало сцарапаешь, век не расплатишься. Победить мальчишку – славы мало, проиграть – перед всем царством – сраму выше знамени (и поражение-то вероятнее, отряд у Скопина покрепче, так уж задумано возглавлявшим весь приступ царем). И Корела решился сыграть со своим придворчиком одну из тех шуток, какие игрывал с ногайскими темниками в зимних степях.

Корела – в белом облаке с косыми брызгами резаного подковой льда – обогнул мыс и пропал. Скопин какой-то здоровой частью за ушами, в подтеменьи, чуял, что не надо от острожка уходить, а – вернувшись, прикрыть плечи бы своей польской пехоты, идущей на приступ. Но кровь, пронятая гулко-дымно морозцем и бастром с гвоздцами, в кружках разосланным всем перед битвой от государя, закруживала сердце – быстро меняла местами руки, пики и сусальные сугробы... и Скопин, еще ничего не решив, уже шел за Корелой в угон. Едва дивный ветер окреп вокруг всадника, тот мигом убедился, что в угон идти – страх-хорошо и, главное дело, нужно. Супостат, ясно, мечтает: как бы убоялся, убежать – потом тристатом воротиться. Ан не мечтай – Скопин не выпустит! Только бы так сразу не нагнать – уж больно хорошо!..

За мыском и дальше – во весь свет берегов – никакого недруга как не бывало... Не под лед же ушел? Сзади понемногу наволакивался гам: не поспевали за зрелищем вяземцы берегом. След конницы Корелы обрывался при переко-

пыченном широком переходе на месте летнего наплавного моста, дальше снежное поле реки стояло чисто. Переход же был взрыт ровно в обе стороны: не то прошел недавно крестный ход, не то прогнали на кормежку важным ратоборцам неширокое зимнее стадо...

Мягкий, нехороший ледок лизнул сердце Скопина – неужели степняк на московской околице обведет вокруг пальца его – коренного москвича? Скопин в тревоге уже чуть не отрядил часть латников назад – помогать брать крепость, как услышал обрывающийся нечаянный стук по ледяным мосткам со стороны Зарядья и тут же различил на горке прячущиеся в скаче за немymi тынами и хитросплетенными липами – две-три казачьи яломки. Скопин всем отрядом вынесся на левый берег – спрямляя стезю, полетел слепящими, с мурашками кошачьих стежек, гумнами и сквозь тяжелые, в рассыпавшихся до небес снегах, сады.

Снова им овладел темный, прохладный восторг. С каждым подвисанием коня над платом наслуда почти не пьяный Скопин видел: сама будущность распаивается пред ним на благий миг – на бело, дольно, пустынно и ясно – блестяще. Раскачивается и наполняется недобрым громом снежинок, мучительным и нежным содроганием тысяч подков, заиндевивших в стремлении стрел, каких-то налетающих сухих серо-оранжевых коробок... За парой донских шапок впереди маячили уже шведские кивера, литовские султаны и грешневики шарахающихся дымно-млечными кустами муромских

разбойников.

Вот развернулась в ложине щербатая крепостица, кем-то уже взятая врасплох. Скопин метнул коня в пролом. Так и есть: все поляки уже схоронились от него в сапы с заснеженными земляными турами и только выставили узорные крыжи – рукояти кривых великанов-мечей – по ним души ляхов надеялись, когда князь Скопин-Шуйский уедет, выкарабкаться из заглушенных земель и поземкой окопов еще раз на свет божий. Скопин в ярости начал сечь крыжи, перекрывая врагам будущую вечную жизнь. Ахалтекинец под ним, перекинувшись через чугунную флешь, пробил многоярусный наст первыми ногами и бросил Скопина на басурманский крест. Вскинувшись – не охнув, сразу отцепившись от обмершего вкопанно врага, Скопин уже наладился рубиться, как – с расколотой жестянки шелома – в глаза, скорчившись, прыгнула надпись: «блвн» – благоверный «Алекс...» (раскол) «...ий Скопа».

Князь Михаил Васильевич вздрогнул, он вдруг заметил: во всю пустыню кладбища бьет ветер – обнаженные деревья шумят. Бастр был с чем-то... Это вместо католичьих он чьи души удушивал?.. Опускаются собаки на осины, воздух бессмертия под коими стольким пресек.

Трезвея, Скопин задрожал, хотя больше не осязал внешнего ветра, от которого осины и ракиты трубят, – его ветер начинался и заканчивался в нем.

Он оглянулся – по околю не было живой души. Ахалке-

тинец лихорадочно и безучастно позевывал, задирая верхнюю губу кабаньим пяточком и открывая бледные – в сравнении атласных шапок, непавших с порубленных русских крестов, – тянутые вперед драконьи зубы.

Скопин, сев в снегу на пятки, хотел просить прощенья у всего, может, нечаянно обрушенного им покоя душ. Но, прочтя рубежи их животов, означенные по крестам, Михаил остановился. Кладбище было старо – люди, легшие здесь, начерно прожили вместо великого царства в маленьком княжестве. Скопин тихо застыдился – он не мог просить прощения у тех, кто, пожалуй, даже не оценил бы по достоинству его славного гнева и порыва. Это им должно быть стыдно перед Скопиным, что и жили – тлели без огня большого услужения, и усопли даром: нет бы пали, приближая пресветлый день верха Москвы над Тверью и Костромой. Сам Скопин, впрочем, их не винит, хотя – как знать? – не покарал ли сейчас эти племена его рукою сам летучий архистратиг?

Содрогание гасло в груди Скопина: рать таки была не подлинна, меч липов, ветхие кресты все же не люди... Сами рассыпались.

Скопин выехал с порубленного кладбища трезвым и спокойным. Чуть не шевельнулись жемчужные струйки ракиты, не открылась бесшумно река. Не неба ли началом чуть не стал самый край земли?.. Но нет, река по-прежнему смиренно стыла, преодолена блестящим региментом Стужи. Леса представляли цепь оборонительных засек, только знаменами

– рябины по низинам (для тайны багрец заткан белым поярком мохнато). Горизонты упирались в рубежи. Вновь обширная Русь расчленилась стройно и уютно, отчая природа выдвигалась верными чертами: оврагов-то – любые фланги подоткнешь!.. – И вот: пролегла одним, дух взнуздавающим устремлением.

– Тако же добудем тебе, Вашцаржскамосць, и Азов! – возопил на ледовитой башенке расходчик Слонский и пнул в последнем восхищении вздернутым носом сапожка пленный полумесяц. Но рукоять серпа, успевшая вмерзнуть в свод, даже не дрогнула: Слонский, другого ожидавший, так поскользнулся, что с размаху чресел сел на серп, – непопраный, тот выпер у взревевшего расходчика спереди сквозь шаровары.

На этом куту крепости, одоленном государем со товарищи, уже рекой лились напитки: дымные сбитни, разжимающие мягким пламенем нутро меду. В туюсках и барабанных чемоданах, охлаждаясь, плавно погасая ратью горлышек – будто вековой белой пылью покрываясь на морозе, ждали своей службы и дутыши-немцы. Но даже земляки их из людей, истинные кнехты, даже франк Жак Маржарет, предпочли на стуже беззаветную войну с московскими настойками рискованным забавам со своими.

При крайних башнях, кажется, еще шла свалка – вот-вот оттуда должна подойти весть об окончательном торжестве

Дмитрия... Так и есть: показался на жеребце, с трудом выбравшем копыта из осыпей в синей сени стен – из льдинок, коверканных снежных ломтей, кубов, пластин, – впереди нескольких ментиков – снеговик Басманов.

– Ну, чего твоим послать-то: полугару али чихиря?!

– Да не надо пока вина, – сдерживая нетерпение иной заботы, смолвил сходящий с коня. Выпрастывая из стремени ногу, Петр Федорович обнял мгновенным из-под-лба оглядом отрядик бояр, давно устоявшийся с чарками возле царя.

Самый бесснежный на сегодня – князь Василий Шуйский, перехватив сей взгляд, пока монарх не разобрал, что Басманову необходим доклад наедине, подался сам к царю и под локоток тишайше повлек его в сторону.

– Прав, прав, Петруша, государь, – зашептал, сокровенным плотным паром топя бисер сосулук на воротнике Дмитрия. – Не рано распойствуем?! У немцев снег в комках был зело тверд – фонарей, вишь, нашим пованешали. Боляры зе... бардзе злы, в тиши бесяци. А ведь лезвее под полой чуть не у каждого. Глаз востри, венцедержец: бы кровавой пирушки не вышло...

Не дыша, к шептуну с другого плеча примыкал по праву долга и Басманов. Узнав, о чем болит душа у князя, он прямо глянул на него, но, теперь уж не смущаясь обществом бывалого злодея, сообщил царю (как бы уже в подтверждение слов Шуйского) ход боя на своем куту, где пешие штурмовики-жолнеры пошли вдруг таскать за ноги с седел бояр.

Неприученные к такой простоте игры бояре потерялись внизу вовсе и... ну совать неприятелю в морду. Тот, разумеется, ответил – этак по-гусарски... В общем, Басманов развел от греха заигравшиеся стороны. Но, государь, сворачивай потеху. Стоят-держатся чудом. Спасибо, Андрейка, как из-под снега, вернулся и конями разделил.

– Ни-ни-ни, – близко задышал клубами Шуйский. – Государь, как ни в чем не бывало... Водку – в пролуби, и бросить красивую кость... Все победили. Мстиславский вел шляхту и немца – значит, это и боярская победа тоже. На раскате, перед ратями его вознаградить...

В круг царского ужина приняты были еще Мстиславский и Шуйский. С легкой руки Дмитрия, во всеуслышание расхвалившего своего воеводу за снеговой бой, за князем Мстиславским закрепилось теперь честное название – «Непобедимейший». Причем сподвижники, ходящие ниже Мстиславского по местнической лестнице, при обращении к нему ставили титул сей в конце прежнего полного его величания, а превосходящие родом или чином для обозначения князя теперь употребляли только этот новый титул без ничего.

Да то ли будет ужо, князь-человече? Даже дворняжка выскочка Басманов, немевший прежде уважительнее трав на бармах Годунова, нынче чуть ли Гедеминовича не за уши треплет – на своего естественного царя глядя (царь-то тоже уж больно естествен) – и, с чаркой араха развалясь, наголо

царю обсказывает:

– ...Давай, говорим, из армат вдарим и выйдем из-за воезов. Непобедимейший: нет, бум годить, – вы сопляки палатные (а нам – лет по двадцать, стольники мы), ничего вы в битвенных делах не рюхаете, бум годить, бум ждать, пока весь хан не навалится на нас. – Перегнувшись через стол, Басманов поразгладил светлую бороду князю на обе стороны груди. – Ладно, сидим – перегрызаемся то здесь, то тут с ногайцами – день, два... А на третью но-очь на лагерь наш «нашел великий всполох»! Мстиславский выскочил в одних портках из ятки!.. А дознались потом: это пастушок один сельца Котлы, что осталось как раз под татаринном, заранее всех короенок свел и затаил в яруге. Буренки тою ночью птиц, что ли, каких, собак ли напугались и ломанулись оттоле всем стадом. А ночью ж черта разберешь, Непобедимейший в одних портках и с булавой вопит: «Изо всех орудий – на все стороны!» Тут и с гуляй-города, и из-за обоза наши как пошли из всех пищалей, кулеврин во тьму хлестать, на стене Данилова монастыря тяжелые единороги стояли, и из них – на аллаха! Вот зрелище было очам, я вам доложу... Микулин врал, что только в Лондоне на Масленицу видывал он таковые фельверки... Но света-ет... – Басманов страховито округлил глаза. – Что ж видим, государь? А перед нами в полях – ни татарина. Таковую грозу в ночь нагнал им российский стратег – все юрты, припасы нам бросили и от греха в Крым, отдохнуть ушли! А все наследный воитель наш – Непобедимейший!

– Петюнька, поживи-ка твой род с мой, – плевал Гедеминевич на смех несмысленный по всем краям стола, речь вел только с Петром. – Послужи-тка детки да внучки твои великим государям, вот правнуку твоему и тоже дозволится на глазок пальнуть в степу – «або куда!» – Подумал, строго покосил краешками глаз на притворное замирание веселья окрест. – Тогда и твою одного адского рыка все татарство ужახнется! (Ослобони, оставь, оставь бороду-то – чай, не государева казна)...

Все ж осержался Гедеминич более по обязанности непривычки. Скромно кутавшийся в новые подарки – чуйки с царского плеча, поедавший сейчас на одну дареную деревню больше, сидел против царя за вечерним коротким столом – сокровенно пытлив и доволен. Влекло бездетного Федора Ивановича к этой лукавой и охальной молодежи, как самого маленького смутно приглашает мир больших ребят, и даже усмешка небрежения и помыкания им, младшим, сквозит из старшего мира ему лестным вниманием, он любит своих умных чутких обидчиков, слабо веря, что станет таким же.

– ...Эх, Стасика Мнишка нет, – кричит единодержец. – Уж нам рассказал бы, как Непобедимейший на Украине ножами гусаров молотил!

– Аха-ха! О-хо-хо! Непобедимейший!

– Ну и что ж, что под Новеградом-Северским замялся маленько, – пыжась и сверкнув вдруг винной сумасшедшинкой, вольной сладостью в глазах – Мстиславский. – Зато под

Севском – так батюшке наложил по первое число, так наложил, что и он... наклал... И аж до Путивлю летел, не обертаясь! Верно ль я баю, батюшка-государь?

Князю на миг показалось, что под ним разверзаются полы и потолки всех ярусов и погребов до преисподней. Но провалился миг – не успел Дмитрий двинуть бровью, уже хохотали поляки и самые юнцы из русских, смеялся, спрятавшись за кубок, царь, засмеялись старые – ужели над царем?! Да нет, нет, снова, верно, надо мной... – все уже поздравляли Мстиславского со знатной мезьтвю.

– Да, да – той зимой игрывали мы полише, – показался из-за кубка Дмитрий, вскоре он, едва застолье оставило князя – занялось само собой, придвинувшись ближе к Федору Ивановичу, напомнил ему: – Слушай, за прошлогоднюю потеху наградить тебя так и забыл?.. Чего спросишь-то?

Еще на руинах снежного острожка царь «старому другу», думцу-воеводе, повелел просить что хочет. Изнуренный боевым волнением и праздничным доспехом князь попросил тогда только немного времени – желание придумать. Но время то давно прошло, желание пекло, и вторую, явившуюся чудом, возможность остужения его, потерять сейчас было никак нельзя.

– Надежда-государь, слово просьбы моей просто, – сказал князь Федор Иванович. – На поле бранном мне деть счастья некуда, а в дому у меня пустота и тоска... – князь все ниже и ниже клонился подле царя над столом, то ли в знак моль-

бы, то ли в знак тайны. – Окаянец Годунов, не к празднику был бы помянут, по срамокровью *своему* боялся продолженья *моего*. Он, дабы по скончанию твоего раба имения его прибрать в казну и чад своих от состязателей за трон избавить, приказал мне, горемыке-Гедеминичу, жениться...

– Вот дракон... Да что ж ты сразу-то, Иваныч?.. Это я всем позволяю, – моргал государь, за искренним сочувствием, как за щитом, с трудом держа и тем только сугубя тихое веселье. – Есть небось уж и зазноба сердцу молодецкому?

– О государь, не смел еще и избирать... Но теперь уж времени вести не буду, мигом приищу, – у Мстиславского уж в памяти летели ворота знатнейших невест, колтки, брошки, рефьи и кокошники над толстыми косами – вокруг милых белых пятен на местах лиц, неизвестных князю – ради стережения поспелых дочерей цветущими отцами.

– А ты, княже, оказывается, еще о-го-го! – хыкнул дланью-лодочкой царь Федора Ивановича в бок. – Братия! – возвеселил голос, – плясать тебе под Рождество кое-на-чьей свадьбе!

Князь опустил глаза от ряда плотных, обрыгивающихся душевно лиц – да отдал бы из них хоть один дочь за последнего из Гедемин-Мстиславских, темных выкидышей древнелитовского племени? Вянут силы его отдаленной родни, да и свои его, те нужные мужские силушки – справить удельцам наследника, поди, не те у старца. Поди, сраму с ним оберешься...

Так получилось, что государь в этот вечер не занимался больше князем Федором Ивановичем – и не слышал, верно, тихой перемены его сердца. Оно и понятно – слишком отдален, и летами, и во человецех положением, от всех низких тревог.

Князь уходил с пира последним – все оборачивался, то ли поводило согрubitь гордыней перед кем-то, то ли скорбно попенять – да чем, кому? (Царь оставил трапезную первым, далеко теперь утек во внутренний покой.)

И тут Басманов, протискиваясь меж князем Мстиславским и дверным ценинным косяком, хлопнул Федора Ивановича по плечу:

– Полно, полно, не плачь, архистрат, шире шаг! Кто не отдаст дочь тому, у кого сам государь будет сватом, а окольные дружками?!.. Ушлю – куда ты татар не гонял, – добавил, укрыв от подслушиваний рот сбоку отворотом бороды Мстиславского, и подмигнул князю ясно.

Вывалившись перед большими воротами из возка, князь долго на свет снега хлопал глазами: что за Москва это, чьи дворы? – не Трубецких, не Воротынских...

– Непобедимейший, не опознаешь? – из мрака возка вышел младший Скопин следом.

– На... на... но... но... – прозревал боярин, столбенея.

– Верно, верно: Нагих новый двор! – подтвердил Дмитрий, идя от второго возка – линиялого задрипанца с шелушащейся кожей на гранях. (Такой каптан был с превеликим

трудом сыскан на задах калымажной управы – для удобства частной езды государя по Москве.)

– Но... на...

– Тетку мне, понимаешь, как раз нужно пристроить, – Дмитрий махнул плеткой возчику – бить в ворота. – Во вдовках засиделась за тринадцать ссыльных лет... Сейчас! Привсватаемся к тетушке моей...

– Но... но Нагие – и Мстиславские?.. – затравленно оглядывался князь. Всего он ожидал от этой бесшабашной милости, но...

– Родня царева для тебя худа?! – рыкнул над княжьем ухом Басманов и сам крепко попробовал сапожком белую узкую калитку.

– А?.. Что ты, этого нет, – смирился, опомнившись, Федор Иванович. – Два старичка – вот и парочка, куда уж мне о девочках мечтать...

Заходя в распахнувшуюся с вязким чмоком калитку, Гедеминович утешил себя тем, что напрочь поначалу с испугу забыл: невесть откуда выскочившие в опричнину Нагие чертенята, как теперь ни крути, а царской маме племя, тирановой супружнице от шестого ли его – где-то так, седьмого ли брака. Древнелитвин Федор Иванович вздохнул, хоть все одно никуда не дел больные глаза.

– Да князь, это ж смотрины, а не сговор, – подтолкнул в спину царь. – Не поглянется, домой дорогу знаешь.

– Да что за капризник такой, да вытолкаем его сразу? –

предложил мальчишка-мечник Скопин.

Троюродный дед Дмитрия, Чурила Нагой, не ждал гостей. Прямой и огромный, вышагнувший в одной мареновой рубахе на крыльцо, он все пятился – перед серьезным шествием великих – вглубь дома, прилежно, мощно кланяясь и все-таки биясь затылком о все притолоки.

Кому-кому, а угличанину Чуриле прекрасно было ведомо, Дмитрий ли – этот престольный парень перед ним, было ясно, что и «Дмитрий» не мог не знать об этом знании Нагого. «Деда Чура» видел, как нужен со всей родней сейчас царю, но то ведь – до первой славы какого-нибудь «казанского взятия», если не заслужить сейчас огромного его доверия. Потому Чурил проворно перенял «домашний», задушевно-распоясанный тон властелина, и при встречах с ним, не допуская ни мига случайного молчания, чреватого прямым чтением правды и кривды в сердцах, без конца говорил, говорил, пересказывал все о себе и семье, зодиях, магарычах и тамгах – что можно и нельзя было. Вот-де я – что там до кровного бессмысленного родства? – и так родней родимого, прозрачен, слеп и глуп...

– Вот задача, Митя, у меня – последнюю дочушку замуж вымечь, – при первой же перемолвке открыл государю Чурил. – Да как бы нечестья не вышло. По одном слухам – на Белоозере к ней в окно часовой стрелец лазал, а по иным – монахи всю излазали... – и-и эх! А как отцу там уследить – сам под надзором сидел! Пытал после – смеется. «Терпит-

ся, – спрашиваю, – замуж?» – «Вот еще! И так в неволе кисла с лучших лет, свобода, – говорит, – лучше всего». А давеча вдруг: «Батюшка, коли так тебе надо, так уж выдавай за старичка горбатого, чтобы и мне, на закате дней, свет не застилал»... Уж не знаю, в шутку ли она это – всерьез?..

– Узнай, – посоветовал тогда серьезно Дмитрий.

– Где дочища-то? – спросил он сейчас.

– Да рядом, рядышком она тут, на часовенке... – почти утвердительно молвил Нагой. – Елисей, Терешка, живо за барышней! Людка, гостям предорогим – угощение!..

Но Дмитрий досадливым порывом десницы осадил слуг:

– Да не надо ничего. Сами пройдемся, поклонимся.

Царь, мечник, сыскник и воевода опять вышли на улицу и пошли узкой, чуть размыкающей снега двора тропюю к соловой часовенке. Накинув зипун, Чурил, молча что-то кумекая, двинулся следом.

Только он сошел с крыльца, двор, облезлые каптаны с красивыми лошадами в снегах, четыре человеческих стана на тропе и перевал Занеглименья над ними – залило солнце. Все четверо посмотрели на небо, последний перекрестился, первый чихнул, и, яро потемневшие в окружном великом озарении, гости продолжали путь.

– Вот, все молится во славу избавления от узища Борисова... – дышал царям в спины Чурила на лестничных трудных витках. Возле двери в молельню он сделал последнюю попытку перегнать всех и распахнуть дверь, но мечник за-

мкнул лаз хозяину плечом и приблизил строгий перст к своим устам.

Басманов резко – без скрипа – приотворил дверь на вершок и рядом дал место Мстиславскому. Но вскоре обитая юфтью дверь, пропев «иже еси», разошлась шире.

Басманов, Гедеминovich, царь, Скопин, чередом переступали порог. Чурила Нагой сел, запахнув армяк, на лестнице.

Вся молельня была просквожена круглыми смутными солнцами – от по-старинке, бычным пузырем заставленных оконеч; в вечных сумерках подпотолочья скано тлели оклады – возвращенные от Годуновых, присовокупленные от Вельяминовых; жидкие зернышки в солнечном иле – в прямой, рвистой протоке – нежили светильники.

На трепном столике подле Большого часослова, малахитовой сулейки и стопы с оставленной пунцовой романеей, на раскрытых листах «Рафлей» клубились каштаные кудри: молодлица-боярышня, в неподпоясанном опашне сидя на лавочке, уронив руки на стол, на руки – без венца и плата на голову – нет, не пьяная, а только розовая – крепко спала.

Каждый из гостей Нагого подходил к ней близко и долго смотрел с той стороны, куда была обращена – закрытыми большими глазами. Из-под завернувшейся паневы видна была выше щиколотки странно-совершенная босая ножка.

Спокойный взгляд Солнышка тоже добрался до краешка боярышнинных ресниц – и в ответ они затрепетали. Сразу перепугавшись чего-то, гости кинулись беззвучно вон. Нагой

шумно помчался в лесенной теснине впереди – давая дорогу гостям.

– Вот я ей, озорнице, ужо! Вот я ей! – преувеличивал он на ходу, зная, что такой молитвой москвитянки, в общем-то, никого не удивишь, хотя к стопке прикладываются они, конечно, чаще уже в женках. – Не подумайте, государи, чего, – присторожил все же царя и женихов на всякий случай Чури-ла. – Не пьяница она, а озорница!

Гости спаслись от него только в хоромах, выставив хозяй-на из облюбованной горницы.

– Как? – спросил подданных Дмитрий.

– Да-а, с мартовским пивком потянет... – протянул, опо-минаясь, Басманов.

– А как же... как же тетя-то она тебе?! – все не понимал князь Мстиславский. – Она ж твоея, батюшка, лет, коли не меньше...

– Э, такие ли еще чудеса в родословьях бывают! – подмиг-нул сыскнику Дмитрий.

– Нет, старуха, старуха, – притворно-опечаленно твердил мечник, – все ж ей не семнадцать лет...

– Осади-ка, не твоего словца ждем, Мишок. Непобеди-мейший, как?!

Федор Иванович вдруг осип и почти задохнулся. Будто ка-кой-то вестник в нем носился – от ума до сердца – и назад, в перемышке между ними страшно застревая, прорываясь... Наконец думец-князь задышал и прошептал:

– Сдаюсь... Согласен, государь...

– Вот привереда еще! Непобедимейший! – зафыркал Скопин. – Семь пятниц на неделе! Да впору ли сдаваться – ты подумай! Во-первых: старуха! Во-вторых: родом худа!..

Мстиславский, в ужасе глянув на плотно прикрытую дверь, замахал на юношу руками. Перед государем же он теми же дланями умолительно разгладил воздух – расправляя измятую нечаянно, незримую скатерть.

Но сопляк-мечник никак не утихал.

– Ну вот, теперь и Ивановна, да нам надобна, – вздохнул он. – Слушай, Непобедимейший, я тебе невесту сам найду, – вновь оживляясь, Скопин сделал незаметный знак царю, своей компании, – подберу знатную, такую и всякую – расписную под Холуй и Мстеру!.. Дородную, князь! Ся же – тоща-то, смотри, никак не на твой это... вкус-то, князь Федор Иванович, ты же столбовой серьезный человек, болярин вотчинный. Я, знаешь, тебе какую добуду... а уж эту ты мне уступи!

Вотчинный болярин побледнел:

– Ты что это, Минь?.. Э нет, Михайло Василич!.. – восставал, путался. – Меня оженить привезли... И я первый просил государя... Меня сначала...

В прибывающей тревоге князь оборотился к царю – едва он отвернулся от Скопина, тот подавился теплым содрогаaniem. Царь же, напротив, мигом стал суров и отвечал, как только должен добрый и примерный судия:

– Други мои верные. Слуги державства полезные. Тут ведь не на торговой стогне, витязи. Стыд и срам – рядиться меж собой!.. Не знаю вот теперь, как ваше дело и раскидать... – туго надул щеки, но глянул не вовремя на воеводу и Скопина – щеки стало вдруг плющить рывками. – ... Уж спросить, что ли, у самой суженой – кого здесь привечают-то: бывалых али малых?

– Ироды!.. Опричники!.. – вскричал, постигнув что-то внезапно, Мстиславский и, не видя боле веселящихся мучителей, забыв горлатный свой раструб на лавке, бросился из терема вон.

– Останови, Мишок...

– Куда там! – сказал, воротясь, мечник. – Вот гонорец литовский! И слушать не стал... Одни санки, ведьмак, угнал!

– Никак – слишком мы?.. – качнул головой, глянув на молодь, Басманов. – Теперь уж сюда не шагнет.

– Женись тогда ты, Мишка? – толкнул Дмитрий Скопина (ехали домой, ужавшись в возке трое). – Красавица, да?

– Да, но нет.

– Что ж так?

– Ну еще... – протянул скромницей мечник. – Из меня-то – муж, отец семейства?.. Это ж надо будет как-нибудь по Домострою жить... Потом, ведь за такой – глаз да глаз... Да ну их, пустяков!

– Мальчонка ты еще! – взлохматил его пятерней Басманов. – Чем Домострой тебе не угодил? Ты хоть читал?

– Как же, в учении еще мечтал намять бока попу Сильвестру за такие наставления... Когда капусту квасить да по каким местам холопов сечь. Вот и вызубри тому подобного пятьсот страниц.

Басманов сочувствующе вздыхал, Дмитрий хмурился и улыбался: он спрашивал у себя, соблазнился бы Нагою сам, кабы не «родственность» и не «все сердце занято», и никак не мог изобразить в сердце мысленно новой свободы. Чувствовал только, что всегда чуть враждебен теперь любой сторонней красоте – за прелесть своей честной наложницы. Вот увидит – и сразу понятно доказывает сам себе, что его царь-девица – от самой своей запредельной причуды до тихих подушечек перст – лучше всех. Та пуста, эта тяжела, та во все чужая, та страх-знакомая, эту цепями черти молотили, та краса больно примерна, скучна, все ей отдают вялый поклон... Единственный из нынешних гостей Чурилы Нагого, царь и раньше его дочку видел, и тогда уже сделал не в пользу ее очередное сравнение.

Но – встретившись сегодня с ее спящими чертами – в их цветущем холоде прикоснулся дальней, прежде неизвестной веткой души к чему-то... вечернему, издревле родному, и стало тут на миг ясно и непонятно ему.

* * *

Настя Головина от ключницы узнала, что пришли с царем

к Нагим на именины старый князь Мстиславский да Михайла Скопин, наш сосед, и ну сватать обое ихнюю гулену-боярышню – расплевались при царе прямо из-за нее. Но сосед-то наш, слышь, сказывали – победил, старик-то выкинут несолоно хлебавши.

Что-то безобразное, неправильное Насте слышалось в об-сказе служанки, даже в том, что Миша теперь назывался про-сто – соседом, в том, что так запросто передавала ей ключ-ница о его нежданном сватовстве. Словно Настя, как и эта вот холопка, как какой-нибудь нездешний мир, – теперь ему чужая. Словно насовсем от Миши отрешенная какой-то бес-просветной городьбой.

Уйдя на материну половину, Настя присела к окну, вы-ходящему на Скопин двор. Огромные, выше сушил, качели остолбенены на зиму снегом. Закат маком цветет. У анбаров под кустами кто-то ходит – вечером сквозь лиловатое стекло не видно – может, собака, может, курица.

Еще по-за-тем летом качели... У нее вдруг онемели паль-цы, смешалась голова. Миша, повиснув на веревках, землю деря каблуком, остановил взбешенную скамейку. И смотрел глубоко, близко: что?! что?!

Она – вмиг успокоившись и улыбнувшись – знала, *что* видно ему сейчас в ее глазах. Лица их тихо начали сближать-ся, и он, не поняв еще – что тут? – не выдержал и нечаянно провел рубеж ладонью – в просвете между своим и ее лицом. Она улыбнулась еще веселее, синей просияли глаза.

Скопин хотел собраться и сказать что-то по делу, а не по чуду сему, и заговорил было уже, но спутался, заплел слова и, разгадав, что выпутаться невозможно, повернулся и ушел домой. Или, как показалось – куда-то сквозь дом.

– ...Батюшка! Вы что это сидите, четки носом ловите?! Отдайте меня кому-нибудь, сейчас! За дедушку Мстиславского – я уже большая, большая, созрела, созрела уже я!

Василий Головин поднял цветную Триодь с пола и заложил книжку четками: в первый миг поверил, что его четырнадцатилетней девчуре и впрямь зачесалось замуж, взял и открылся бабий лютый зуд.

– Пошто ж за Мстиславского-то, доча? – спросил только Василий Петрович, с которым не были накоротке дворовые «сороки». – Вон за палисадом-то – какой жених тебе растет...

– Еще чего, нет уж, нет! – затолкала кулачками отца Настя. – Только не за этот тюфяк, бревно лопоухое!.. Давай! Пусть женихи приедут! Ты же знаешь, как это там делается, чтобы нам не набиваться... Ты – царев печатник, намекни только... Как у Истоминых – соколят будто смотреть! Я тоже не вороной уж пройдусь!.. Ну, на затравку – давай князя Федюшку Ивановича: мол, кличешь – соколят казать!

Печатник захлопнул дверь в сени, за плечи поймал мечущуюся избою дочь:

– Кого я покличу сейчас – соколену одну посмотреть, так

это докторов с Кукуйской слободы. Они-то в ваших выкрутасах понимают...

Лишенная широкого движения Настя начала лишь часто-мелко вздрагивать – ослабевая:

– Прости, тять, ведь я сама не знаю, что... Ты дома-то редко бываешь, мне просто тошно, наверно, зимой... А когда тут еще ты дома, невольно просто... – Тыкалась лицом в отцову грудь, большую, как в детстве соседский тын...

– Всю Москву ей призови... – оглаживал Василий Петрович растерянно и равномерно горемычную дочуркину головку. – Тоже – королева колыванская...

Скопин в это время, идя впереди коня, ведомого слугой, по своему двору, смотрел на поздний огонек у соседей. Скопин подумал, что Артемка, годовалый Настин братец, наверно, мятежничает спать, и прислушался, в невольном ожидании уловить боевой его выкрик. Отдаленный вопль последовал, но – Настин. Скопин встал, как вкопанный, чтобы крик своих шагов не затмил ни один слабый звук, но, как ни ставил малахай над ухом, Насти больше не слышал. Всхрапнул в недоумении аргамак – почему повели целиной, а не тропинкой, к которой пристыл твердо хозяин. Сердечно обинуясь, скрипнули петли конюшни. Птица что-то быстро сказала, летя через сад на ночлег. Окна у Головиных погасли.

На другой день, когда Скопин заходил на свой двор с царской службы, ворота соседей еще были отворены, печатник подпирал вереву плечом. – Кого караулишь, Василий Петро-

вич? – спросил Скопин.

– Да князька бородатого одного, – улыбнулся приветливо Головин. – Выжлят поглядеть захотел.

– Чего их смотреть-то – им у тебя еще по месяцу нету... – не понимал еще Скопин.

– Зайди и ты, – добавил, как по радушию нужно, сосед.

– Может, загляну... – пробормотал, мрачняя, Скопин, хотя неделю назад заходил глядеть щенков. – Как раз у меня к Федору Ивановичу дело... Да книжку твою про Карфаген и Рим занесу, – сообщил, застыдясь вдруг заходить по истраченной причине.

«Так Непобедимейший сюда решил...» – медленно ходил по топленому светлomu надсенью, рассеянно забрал из рук отца римскую книгу.

«Да Наське ведь всего пятнадцать лет... Вымахала, правда, превыше иной тридцатилетней... – Вчерашний звук и поздний огонек объяснились теперь Михаилу. – Значит, как зверюшку? – Налетев, ударили в грудь, отшвырнули в тихий снег пустые летние качели. – Хват!.. И пускай! Сядь, посиди, тебе-то что?!.. Сколько их еще нальется, этих Настек! И подождем!» – пылал, говорил он себе, но кто-то, еще незнакомый, говорил ему – как из бережливого далека – что хватит, уже не назреет таких ни одной.

Когда Скопин вошел к Головиным, князя Федора Ивановича еще не было. Стол был полунакрыт: тарелки, солонки, кувшины и травки. На образах и поставцах – новые занаве-

сочки китайского атласа. Насти не было – понятно, прихорашивают где-то. Все идет как полагается. Наськиной матери тоже не видно – Головин сказал, укладывает с мамками Артемку, но Скопин уже не поверил: просто мне дают знать, что затерся не вовремя: ты, мол, хоть сосед – да чужой, и уходи... – И каким-то невнятным и басурманским напевом отзванивало то, что он теперь полностью лишний возле этих стен, где он в первые лета сражался на полу, потом выдерживал осаду за несокрушимой печкой – где со сверчками помогали ему сами домовые, которых Миша и сегодня бы узнал – по дыханию, как и в своем терему, глубокому – навстречу и вглубь человеческого. Здесь в каждом углу плоть непростых насельников, а не одна память, соткана из всех движений возлюбленных хозяев и друзей их хором. И Наськины все деянья здесь, все пожелания, умнеющее сердце, – хоть ее и нет вот в комнате, а – с детства все ужимки, ужасы, смешинки, бедуменные порывы... – как сквозь свет видны.

...Выйти, встретить «суженого» прежде Головина? Попробовать еще раз перед Гедеминичем за шутки у Нагих покаяться?... С какой стороны-то он прибудет?... Или тут где-нибудь с ним украдкой переговорить?! – Скопин огляделся. – Да у него зенки под шапку закатятся: куда ни ткнись – я сижу, невест его перебиваю! Да он после такого, чего доброго, пойдет, сразу утопитя у себя в родовом пруду...

– А ты сего сегодня кьясенький? – влез на поставец с коленками четырехлетний боярчик Сенечка, старший Артем-

кин братец. – Миса Скопин, ты пьяный?

Снова вошел с улицы хозяин:

– Что-то не едет князь Мстиславский! Расхворался не то? – чесанул в затылке и опять исчез.

– Вот, коли не видывал, гляди, – внес через минуту в горсти и за пазухой – в комьях – бархатных хортиков да и выложил прямо на скатерть к жамкам и ельцам.

Вдруг вошла Настя – в простом сарафане и шушуне, как раньше, и села против Скопина за стольный уголок... – Здравствуй, Настя, – почему-то привставая, плохо, глухо. Настя ответила еще тише, одними губами. Сидела и улыбалась, глаза только тихи и темны... Миша Скопин с Сенечкой помешивали любопытных хортиков на столе, чтобы не падали на пол и не счекнули посуду; заплакал где-то в своей горенке Артемка.

– Запсалмил, – сказал Головин. – Неуки-мамки никак не приложат.

Настя встала было, но на пороге показалась уж мать – с негодующим ребенком на руках.

– Вот и мы. Спать не хотим. Вы тут гуляете-курнычите, и мы с вами хотим.

– Деди-ка! – весь преобразился Артемка, увидев кутят.

– Гляди-ка, собачек елико! – подпевала мать. – Собачки маленькие, как медведики, гляди... Краше места им не нашел батя твой, туибень!

Артемка утомленно хохотал, тянул пальчики к трясущим

хвостами игрушкам. Скопин, глядя на Артемку, нечаянно просветлел. Приняв его у матери, покидал всадника – как над седлом – в руках и понесся с ним вокруг стола за улепетывающим Семеном, взвизгивающим от восторга на поворотах. Не поспевая спастись, Сенька хватал со стола хорта и ужасал им преследователей – подпрыгивая, доставал братишку его мокрым носом над забвенной пастью. Артем заливался, смеялись счастливые родители, заслоняла и Настя руками лицо, но вокруг носа и рук, бесшумно сияя, блестя на просвет, тесно вились слезы. Встала она и тихонько вылетела прочь...

И тогда Скопин, покачивая прикладывающегося в изнеможении к его плечу Артемку, сказал тихо окольничему и печатнику Головину:

– Василий Петрович, я еще мальчишка – своих палат нет у меня, на отцовом подворье живу. Но я государев мечник и выручник Руси всей в будущем, так?.. Что еще... Служить думаю справно, с прибытком себе и тебе. Отдай – сегодня и до конца светов – за мене рабу Анастасию...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.